

всепутная история в романах

Всеволод СОЛОВЬЕВ

# ПОСЛЕДНИЕ ГОРБАТОВЫ



Всемирная история в романах

Всеволод Соловьев

**Последние Горбатовы**

«ВЕЧЕ»

1886

**Соловьев В. С.**

Последние Горбатовы / В. С. Соловьев — «ВЕЧЕ»,  
1886 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-8192-5

На историческую сцену вступает последнее поколение дворянской семьи, в прежние времена служившей и Екатерине Великой, и другим российским самодержцам. Увы, как бы ни был славен род прежде, он угасает, а дворянский век безвозвратно уходит в прошлое. Появление класса предпринимателей, нарождение нового строя в России – все это означает, что патриархальный уклад рушится и страна становится на прогрессивный путь развития, но не все Горбатовы готовы к такому будущему. Кто-то смело принимает новые веяния, а кто-то пытается несмотря ни на что сохранить старые «барские» замашки. Этот роман – финальная из пяти книг эпопеи «Хроника четырех поколений». Через историю одной семьи автор показывает различные периоды российской и мировой истории.

ISBN 978-5-4484-8192-5

© Соловьев В. С., 1886

© ВЕЧЕ, 1886

## Содержание

Об авторе	5
Часть первая	8
I. Вернулась	8
II. О старом	11
III. Московский рыцарь	14
IV. Спасенная	18
V. Задумано – сделано	22
VI. На Басманной	27
VII. Кокушка	31
VIII. Наследники	35
IX. Бывшие друзья	39
X. Помеха	42
XI. Веселый Мефистофель	45
XII. Зачем он здесь?	48
XIII. Адвокат	52
XIV. Задача	55
XV. После Барбасова	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

**Всеволод Сергеевич Соловьев**  
**Последние Горбатовы**  
*Роман*

**Об авторе**



## Всеволод Сергеевич

### Соловьев

(1849 – 1903)

Популярный в конце XIX века романист Всеволод Сергеевич Соловьев, «один из наших Вальтер-Скоттов» (как его прозвали современники), родился в Москве 1 (13) января 1849 года. Он был старшим сыном крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева, чья многотомная «История России» до сих пор является одной из серьезнейших работ по изучению прошлого нашего отечества. Дом Соловьевых был местом встречи многих выдающихся москвичей своего времени. Здесь, например, бывали историки Т. Н. Грановский и П. Н. Кудрявцев, собиратель народных сказок А. Н. Афанасьев, знаменитые писатели братья Аксаковы и А. Ф. Писемский, а также много других интересных людей. Такое окружение не могло не вдохновить юношу, сподвигнув его на самостоятельное творчество. В литературу Соловьев вступает как поэт, публикуя в журналах небольшие стихотворения (по большей части без подписи) и короткие рассказы. В 1870 году Всеволод оканчивает учебу на юридическом факультете Московского университета и поступает на службу во 2-е отделение Императорской канцелярии. Но мечта о серьезном занятии литературой не покидает новоявленного чиновника. В 1872 году Соловьев знакомится с Ф. М. Достоевским, которого позднее назовет своим «учителем и наставником». С детства воспитывавшийся в православном духе, Всеволод решает написать роман о борьбе православия с католицизмом, точнее – с иезуитским орденом, пришедшим на западные русские земли. Опубликованный в 1876 году роман «Княжна Острожская» имел большой успех и навсегда определил дальнейший путь Всеволода Соловьева – он становится писателем-историком. В течение нескольких лет один за другим появляются его романы: «Юный император», рассказывающий о царствовании Петра II, «Капитан грендерской роты» – об эпохе дворцовых переворотов XVIII столетия, «Царь-девица» – о жизни царевны Софьи Алексеевны, «Касимовская невеста» – о несостоявшейся женитьбе царя Алексея Михайловича на Ефимии Всеволодской. Главным произведением Соловьева в тот период становится пятитомная эпопея «Хроника четырех поколений», объединившая романы «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы». Этот цикл охватывает большую эпоху, от Екатерины II до Александра I, рассказывая о судьбах нескольких поколений медленно разоряющегося дворянского рода Горбатовых. Среди героев этих книг – Потемкин, братья Орловы, Сперанский, Аракчеев и другие.

Продолжая писать исторические романы, Соловьев вместе с тем переживает острый душевный кризис. Разочаровавшись в косной «государственной» Церкви, Всеволод вступает на тропу духовных исканий. Он обращается к спиритизму, индуизму и буддизму. Под влиянием младшего брата, знаменитого философа Владимира Соловьева, писатель начинает увлекаться мистикой. Однако настоящая духовная близость между братьями отсутствовала, их отношения не выходили за рамки холодной светской любезности. К 1884 году относится знакомство Всеволода Соловьева с Еленой Петровной Блаватской. Писатель надеялся получить духовную поддержку от учения «женщины с феноменами» (как он сам именовал Блаватскую), но его ждало разочарование. В 1892 году Соловьев пишет книгу «Современная жрица Изиды», в которой резко осуждает теософские идеи и личность Е. П. Блаватской. Позднее писатель

признал ошибочность своей критики, но тогда он уже находился под новым религиозным влиянием – личности святого праведника Иоанна Кронштадтского, впоследствии канонизированного Церковью. Духовные искания Всеволода Соловьева нашли свое отражение в знаменитой дилогии «Волхвы» (1889) и «Великий розенкрейцер» (1890). Некоторые исследователи полагают, что образ священника Николая в этих романах воплотил в себе многие черты Иоанна Кронштадтского. На страницах дилогии появляется и другая интересная личность – граф Калиостро, которого писатель изображает не совсем так, как принято рассматривать образ этого сомнительного «вершителя тайной истории». Работал над дилогией Всеволод Сергеевич главным образом в Париже, где в Национальной библиотеке он внимательно изучал труды ученых и мистиков, таких как Парацельс, Экартсгаузен, Николая Фламеля. Писатель скончался 20 октября (2 ноября) 1903 года в Москве, оставив после себя около двух десятков романов, многие из которых теперь возвращаются к современным читателям после почти векового забвения.

### **Избранная библиография В. С. Соловьева:**

- «Княжна Острожская» (1876)
- «Капитан гренадерской роты» (1886)
- «Юный император» (1877)
- Эпопея «Хроника четырех поколений»:*
  - Сергей Горбатов (1881)
  - Вольтерьянец (1882)
  - Старый дом (1883)
  - Изгнанник (1885)
  - Последние Горбатовы (1886)

## Часть первая

### І. Вернулась

Ясным сентябрьским утром в маленьком, густо заросшем саду, примыкавшем к старому и совсем покосившемуся, тоже весьма необширному дому, под навесом деревянной беседки сидел старик. Навес поддерживался ветхими, облупившимися, когда-то зелеными колонками и грозил обрушиться. Но старик, очевидно, был непричастен страху. Он спокойно сидел в огромном кожаном кресле и всецело погрузился в книгу, лежавшую перед ним на придвинутом к креслу столике.

Это был несколько страшноватый с виду старик: маленький, приземистый, с удивительными бородавками на красном лице, с торчавшими щеткой седыми волосами. Хотя старые щеки его были гладко выбриты, но густые кусты седых волос торчали из бородавок, из ушей. Маленькие, уже начинавшие плохо видеть глаза сердито выглядывали из-под нависших бровей. Массивные очки в серебряной оправе держались почти у самого кончика крупного четырехугольного носа. Костюм старика состоял из потертого драпового халата, а на ногах были надеты вышитые разноцветными букетами шерстяные туфли.

Старику, очевидно, было очень много лет, но он все же казался крепким и здоровым.

Окончив страницу, он отодвинул несколько от себя книгу, снял очки, протер себе глаза клетчатым платком, затем вынул из кармана халата круглую черную табакерку и с видимым удовольствием начал набивать себе в ноздри душистый порошок. Потом он встал с кресла, плотнее запахнулся в халат, шлепая туфлями, вышел из-под навеса и прошелся по саду.

Время близилось к полудню, кругом стояла тишина, и так как из-за пожелтевшей, но все еще густой листвы берез, рябин, акаций и сирени ничего кругом не было видно, то можно было подумать, что садик этот находится где-нибудь в деревенской глуши. Но это была не деревенская, а городская, московская, глушь, близ берега Москвы-реки, у Зачатьевского монастыря. Садик принадлежал Кондрату Кузьмичу Прыгунову, а старик был сам хозяин.

Кондрат Кузьмич, обойдя садик, вошел было в дом, но в доме ему показалось как-то неприятно. Он остановился на балкончике и хлопал в ладоши. На этот зов появилась из комнат довольно грязная пожилая женщина и нетерпеливо спросила:

– Чего еще надо?

– А то, Настасьюшка, что час такой пришел, чай слышала? Двенадцать пробило... отошала, закусить бы чего-нибудь, да и с завтраком поторопилась бы...

– А что же я и делаю как не завтракать готовлю? – не особенно почтительно сказала Настасьюшка. – Сама знаю, когда время, только понапрасну от плиты отрываете!

Старик, очевидно, не заметил ее сурового тона.

– Да я к тому – принеси-ка ты мне закусить и позавтракать в садик, в беседку, там хорошо нынче – бабье лето... благодать!..

– В садик так в садик! Селедку, что ли, вычистить прикажете?

– Беспременно! И полынной налей в графинчик, вся она вышла...

Настасьюшка исчезла. Кондрат Кузьмич вернулся в садик, в беседку, снова оседлал кончик своего носа серебряными очками и принялся за книгу в ожидании завтрака.

Прошло несколько минут. Он читал не отрываясь. Вот послышались шаги.

«Наконец-то», – подумал он не без удовольствия, поднял глаза, и вдруг на лице его изобразилось смущение, недоумение, почти испуг.

Перед ним стояла вовсе не Настасьюшка с завтраком, а молодая женщина, высокая, стройная, одетая просто, но изящно, как-то не по-московскому. Ее платье, все в оборочках,

кружевах, опадало мягкими, легкими складками, с плеч грациозно спускалась черная накидка, на голове была черная же шляпа с большим страусовым пером и длинным вуалем. Из-под шляпки глядело молодое лицо с тонкими и в то же время энергичными чертами. Глубокие черные, как уголь, глаза даже как-то жутко горели. Лицо это поражало не только своей оригинальной, редкой красотой, но и чем-то особенным, неуловимым, всепокоряющим. Мимо этого лица никак нельзя было пройти, его не заметишь.

Кондрат Кузьмич даже рот разинул от изумления и все продолжал смотреть, очевидно, ничего не понимая.

– Кондрат Кузьмич, да неужели вы меня не узнаете? – мягким, певучим голосом сказала молодая женщина.

Старик наконец вышел из оцепенения, поднялся с кресла и развел руками.

– Груня! – воскликнул он. – Да как же узнать? Кого угодно ожидал, только не тебя!

– Что ж, и поздороваться, и поцеловать меня не хотите?

Не дожидаясь ответа, она крепко обняла старика и поцеловала его в обе щеки, прямо в торчащие на них седые кусты.

– Милый Кондрат Кузьмич, да не делайте такого ужасного лица! Ну, посмотрите на меня, улыбнитесь...

– Матушка, дай же прийти в себя! – бурчал он, видимо, поддаваясь обаянию ее голоса, ее глаз, ее ласки. – Как же это ты и откуда? Ведь я так почитал, что ты теперь не ближе как в Астрахани.

– И была там, чуть не задохнулась от жары, вот и приехала я к вам. Принимаете? Не сердитесь?

– Очень тебе нужно – сержусь я или нет... очень ты об этом когда-нибудь думала! Кабы думала о нас, так не пропадала бы, почаще бы в Москву заглядывала... Шутка сказать – ведь около пяти, никак, лет ты по разным границам таскаешься... Ох! А в это время много... много... вот и я без моей Олимпиады Петровны...

Он мрачно насупил. На чудных глазах Груни блеснули слезы.

– Как это неожиданно для меня было! – тихо проговорила она. – Как написал мне тогда Вася, читаю я и глазам своим не верю... И как это... отчего... от какой болезни?

– Какая тут болезнь!.. Старость... от старости... да и от любопытства тоже, – мрачно выговорил Кондрат Кузьмич, – всю жизнь ее праздное любопытство терзало. Говорил я, говорил: «Изведешься!» Вот и извелась... вот и один... уж три года... Ну да что об этом! – вдруг почти крикнул он и даже отмахнулся рукою с клетчатым платком от набегавших тяжелых мыслей. – Да ты бы хоть двумя месяцами раньше приехала, застала бы еще в живых благодетеля своего, Бориса Сергеевича...

Груня вздрогнула всем телом, и с ее нежных матовых щек сбежала последняя краска.

– Как! Борис Сергеевич умер?

– А ты и не слыхала? Чай, ведь во всех газетах было.

– Ничего, ничего не слыхала! – растерянно повторяла она. – Когда же?

– Говорю, около двух месяцев как схоронили; ждал я от тебя вести, чтобы знать, по какому адресу письмо отправить, чтобы не пропало, а вот ты и сама... этак лучше... Дела ведь у нас с тобою... благодетель о тебе позаботился.

Но Груня не слушала.

– Борис Сергеевич умер... умер! – шептала она и вдруг закрыла лицо руками и громко, отчаянно зарыдала.

В это время Настасьюшка появилась у беседки с огромным подносом.

Она закрыла старый, весь изрезанный круглый стол скатертью и, нахмуря брови, взглянула на Груню.

– Я и вам прибор принесла, Аграфена Васильевна, – сказала она. – Завтракать-то, чай, будете?

Никто ей не ответил. Груня подавила свои рыдания, утерла заплаканные глаза и сидела, опустив руки, глядя прямо перед собою.

Она была до такой степени хороша с этими следами тоски и горя на выразительном лице, что невозможно было не залюбоваться ею. Любовалась ею и Настасьюшка, хоть и укоризненно покачивала головой.

– Так вот, Аграфена Васильевна – пташка перелетная, залетела опять в наши хоромы, – договорила она суровым тоном. – Жаль вот, поздненько, а теперь уж чего плакать? Слезами-то не поможешь... А барыня-то покойница, голубушка-то наша, еще за день до кончины о вас вспоминала... уж так вы ее огорчали, уж так огорчали...

– Молчи, не твое дело! – крикнул Кондрат Кузьмич.

Бойкая, не церемонившаяся со стариком Настасьюшка вдруг присмирела от этого окрика и, ворча себе что-то под нос, удалилась.

## II. О старом

– Закусим, Груня, чем Бог послал! – сказал Кондрат Кузьмич, укладывая в один карман своего халата табакерку, а в другой – клетчатый платок и придвигаясь к столу.

– Я завтракала... благодарю вас! – проговорила Груня.

– Ну а я не завтракал и голоден.

Он налил себе из старинного граненого графинчика полынной, поглядел рюмку на свет, быстро опрокинул ее в рот, крякнул и принялся закусывать.

Несколько минут продолжалось молчание.

– Боже мой... и Бориса Сергеевича нет! – будто самой себе, прошептала наконец Груня.

Кондрат Кузьмич, успевший между тем окончить свой скромный завтрак, отодвинул от себя тарелку и взглянул на Груню из-под нависших бровей.

– Что тут удивительного? – сказал он. – Все смертны, всем одному за другим свой черед переходить в вечность... Какой нынче у нас тогда? Семьдесят третий; так ведь Борису Сергеевичу лет уж под восемьдесят было... года большие... это вот я только замешкался, девятый десяток начал... Да и жизнь его, Бориса-то Сергеевича, была нерадостная, а уж в последние годы тем паче. Сам, сам признался мне прошлой зимою. «Тяжко, – говорит, – жить, устал я, – говорит... – давно пора». Так-то!

Кондрат Кузьмич покачал головой, насупился и продолжал:

– То-то вот подумаешь, как иной раз люди судят... богат, знатен – так и счастлив; что блестит, то золото... И я ведь тоже раз попал впросак. Приехал по делу к Борису Сергеевичу в его Горбатовское, только что тогда с ним знакомство свел...

– Это тогда было? – спросила Груня, делая ударение на слове «тогда».

– Ну да, тогда, когда мы тебя, одурелого, дикого зверька в Москву повезли с собою... Да ты бы, Грунюшка, того времени не вспоминала, – вдруг прибавил он совсем иным тоном, в котором прозвучало что-то нежное, совсем идущее в разлад с его мрачным и страшным лицом. – Чего вспоминать? Ведь ты тогда была малый ребенок... Забыть надо, навсегда... Это и я, и Борис Сергеевич, и покойница моя тебе не раз говорили. Просто бес в тебе сидит какой-то! Кабы забыла, так и жилось бы лучше, может быть, и глупостей бы не делала.

– Не забывается! – вздохнула Груня. – Разве такое детство, как мое, можно забыть?

– Ну, так вот, приезжаю я в Горбатовское, – продолжал старик, перебивая ее, – роскошь такая, какой в жизни не видывал, жизнь царская. Вижу – Борис Сергеевич человек почтенный, добродетельный... Вижу – старушка важная...

У Груни бессознательно вдруг мелькнуло по лицу что-то злое и мучительное. Но Кондрат Кузьмич не заметил этого.

– Дамы молодые и прекрасные, – говорил он. – Дети, как ангелочки, шумят, веселятся, играют... Два красавца молодых – Сергей Владимирович и Николай Владимирович... Мирно все так, гладко, дружба такая, по видимости, и согласие. Поглядел я и думаю: вот счастливые люди, вот где, в каких палатах золотых, обитает истинное счастье! На том и порешил. А и году не прошло, как убедился в слепоте своей: ничего-то я не разглядел! И поистине это была самая что ни на есть несчастная семья, хотя и в золотых палатах... И так все и разбрелось, словно карающая десница Божья прошла над всеми нами... За что? За чьи грехи? За какие? Не узнать нам, да и не след допытываться, не мы судьи. А теперь вот с тех пор четырнадцать лет прошло и что осталось? Что случилось со всеми ними, куда девался весь этот золотой блеск?

– Что, что случилось с ними? – спросила, встрепенувшись, Груня.

– Да как тебе сказать? С одной стороны посмотришь – как бы и ничего особенного. А между тем нет уж семьи, нет прежнего знатного рода, совсем все рушится с кончиной Бориса Сергеевича. Ведь ты помнишь Наталью Николаевну?

– Господи, как же не помнить? Она была добрая, кроткая, лучше всех их, только странная такая...

– Да, странная! В ней-то, так я полагаю, все и дело... Мало ли что тогда говорили, стороною слышал, да нам судить этого никаким манером невозможно... А что хоть и через нее, да она все же неповинна была – тому порукой Борис Сергеевич, он на нее как на святую молился. Супруг ее, Сергей Владимирович, совсем что ни на есть пустейший человек... всему Петербургу так известен, да и Москве тоже. Видал я ее тогда, перед отъездом за границу, без жалости глядеть нельзя было. Борис Сергеевич все надеялся, что вылечит ее в чужих краях, увез. Два года они в путешествии были, а через два года вернулся он с нею, да уже не с живою – гроб ее привез. Потом он мне рассказывал: «Угасла, – говорил, – как лампада». И любил же он ее! Уехал еще бодрым, а вернулся уж совсем старым... Диво, что столько лет без нее прожил.

– Да теперь-то что же, что со всеми ними? Где они?

– Николай Владимирович, как возвратился он тогда из Азии, – этому ведь уж сколько? – восемь лет будет – живет с женою и сыном почти безвыездно в Петербурге... Теперь вот на похоронах был здесь, да и опять уехал.

– Значит, вы его видели?

– Да, видел, как же, видел не раз... Станный он мне такой показался, нелюдимый, да и все его как-то дичатся... Ну, Сергей Владимирович то здесь, то там; этот непоседа всюду разъезжает, словно мечется... Много, много горя доставил он дяде беспутной своей жизнью. И кабы знал Борис Сергеевич то, что я теперь знаю... ах!

– Что такое, что?

– А то, Грунюшка, что сколько ни переплатил за него покойник, а долгов у него такая тьма-тьмушая, что сам он им счет потерял, давно потерял... Все, что теперь получил он в наследство, боюсь я, прахом пойдет... Как бы и Горбатовское, – оно ему ведь досталось, – не пришлось продать. Борис Сергеевич, слава богу, внучат обеспечил, а то бы они нищими остались...

– От такого-то богатства!.. Кондрат Кузьмич, неужели это возможно?

– Возможно, матушка, все возможно... Не первый древний русский род таким-то манером разоряется... навидался я на своем веку...

– А что Воло... Владимир Сергеевич? – вдруг робко, но в то же время сверкнув глазами, спросила Груня.

– Володичка, что ли? Он еще вчера ко мне заезжал. Грустит по дедушке. Славный, славный молодой человек вышел.

– Что он, здоров? Каков он теперь?

– Здоров, ничего, мы с ним теперь все дела ведем вдвоем по Бориса Сергеевича наследству... все на его руках осталось. В отпуску он, на два месяца отпуск еще взял – раньше-то не разберемся, пожалуй. Ведь он как окончил с моим Васей университетский курс – Вася в Самару, в судебные следователи, а он в Петербург на службу определился... Ничего, служит, не жалуется... Да, славный он вышел, недаром любимчиком был у Бориса Сергеевича.

Кондрат Кузьмич замолчал и стал набивать себе нос табаком.

Груня о чем-то думала. По ее лицу скользило выражение тихой грусти. Но вот она едва заметно улыбнулась, будто сама себе отвечая этой улыбкой.

Кондрат Кузьмич продолжал:

– Барышня, Софья Сергеевна, замуж еще не вышла... Удивительно это... Красавица, знатная невеста... Разборчива, видно, очень. Младшая барышня не в пример, говорят, проще. Я-то ведь их мало вижу. Николушка вот у них вышел плохонек, совсем плохонек.

– Он все болен?

– Телом-то здоров, крепыш, рослый, да головка у него не в порядке, ничего у них с ним не вышло, ученье ему не далось, остался, почитай, безграмотным; не то что совсем уж дурак

либо идиот, а на то похоже. Разъезжает по Москве да чудит... Немало тоже и с ним было горя Борису Сергеевичу. Ну, да теперь-то горевать некому – отцу все равно; я думаю так, что подчас он и забывает, что у него дети есть... Да что же это я с тобою о том о сем, а о деле еще и не заикнулся! – вдруг спохватился Кондрат Кузьмич. – А ты мне и не напомнишь!

– Какое дело? – изумленно спросила Груня.

– Как какое дело? Ведь я сказал тебе, что благодетель тебя не забыл и ты значишься в его завещании. Пятьдесят тысяч рублей серебром тебе оставил, шутка ли, какое приданое! Обо всех он подумал... И я взыскан его щедротами... есть теперь что детям на черный день оставить... Эх, кабы моя покойница про то знала, не попрекала бы, что ни до чего не домыкался... Ну, что же, Груня, ведь вот ты теперь богатая невеста и кабы сама себе не напортила...

– Ах, да зачем мне это? – раздражительно крикнула Груня, и опять слезы брызнули из ее глаз. – Не надо мне, не возьму я этих денег...

– Не городи вздору, – сказал Кондрат Кузьмич, – воля покойника – закон, и ты, с благодарностью и памятуя всю жизнь благодетеля, должна принять это.

– Ведь вы же вот говорите сами, что дела их расстроены, а тут я буду брать такие деньги... Да совсем мне и не надобны они... У меня всегда много денег... Вот и теперь – вы что думаете – целых полторы тысячи у меня с собою... Борис Сергеевич и так много для меня сделал, все сделал – и я это знаю и понимаю...

Голос ее то и дело обрывался.

– Нет, Кондрат Кузьмич, голубчик... Дорогой, уж так как-нибудь устройте... Я не могу... Я не возьму этих денег.

– Говорю – не дури! – еще сердитее крикнул старик. – Эти пятьдесят тысяч твои, и никто их не захочет.

– Ну и я не хочу!.. – настойчиво и упрямо твердила она.

Кондрат Кузьмич встал с кресла и весь побагровел.

– Аграфена! – прорычал он, делаясь совсем зверем. – Сумасшедшая ты была, сумасшедшая и осталась!..

Но он тут же стих и взял ее за руку.

– Браниться с тобою я не хочу... Ты расстроена, рассудить не можешь, успокойся и поговорим как следует, пойдем в дом, пойдем ко мне, я тебе покажу... Он больше еще для тебя сделал. Он знал, за две недели знал, что час его близок, и обо всех, обо всех подумал... Он написал тебе и поручил мне передать тебе это писанье...

– Он мне написал! – воскликнула Груня. – Так что же вы молчите?.. Где... Где эта записка?

– Затем я тебя и зову... Пойдем...

### III. Московский рыцарь

Часа через полтора дверь маленького кабинетика Кондрата Кузьмича отворилась, и из него вышла Груня. Лицо ее имело задумчивый и как бы утомленный вид, но теплый, даже почти нежный свет сиял в ее глубоких глазах.

– Не отправить ли с тобой Настасьюшку? – говорил, выходя ей вслед из кабинета, Кондрат Кузьмич. – Она тебе поможет уложиться. Ты ее с вещами на извозчике и прислать можешь.

– Ах, нет, нет, – поспешно отозвалась Груня, – тут недалеко, я сама все очень легко устрою. Да и какие у меня вещи: все мои вещи еще на железной дороге, со мной всего один чемодан, я его и не раскладывала – вчера вечером поздно было, устала, сегодня заспалась, скорее оделась, напилась чаю и сейчас к вам.

– Ну хорошо! В таком разе я Настасьюшке прикажу приготовить комнату. С Богом, Грунюшка, ждать тебя буду.

Он кивнул ей мохнатой головой и снова заперся в кабинетике.

– К нам, что ли, перебираетесь? – спросила Настасьюшка, очутившись в передней и отворявшая Груне двери.

– Да, к вам!

– Так прямо бы и приехали с дороги... Эх, мудрите, все-то мудрите вы, Аграфена Васильевна!

Она закачала головой, но тут же довольно ласково прибавила:

– Милости просим! Я вам комнатку почищу, прежнюю вашу.

Груня ответила слабой улыбкой, хотела было уже спуститься со ступенек крылечка, но вдруг обернулась и взглянула на Настасьюшку. Та не выдержала, поцеловала ее в плечико и помимо своей воли прошептала:

– Эх, красавица вы наша!

По уходе Груни она тотчас же побежала за щеткой и тряпками и, когда Кондрат Кузьмич крикнул ей, чтобы она прибрала барышнину комнату, она уже поспешно, даже с ожесточением, вся раскрасневшаяся, все вытряхивала и вычищала перед маленьким открытым окошком...

Между тем Груня быстро шла, очевидно, хорошо ей знакомой дорогой и, очевидно, совсем ее не замечая за различными, быстро мелькавшими в голове мыслями. Вот она спешит по Пречистенскому бульвару. Старые деревья уже наполовину пожелтели, и листья их осыпаются при малейшем дуновении ветра.

На бульваре довольно пустынно, только мальчишки из соседних лавок играют в бабки и подхлестывают кубари. Время от времени какой-нибудь гимназический учитель, окончивший свои часы, быстро перебегает с портфелем под мышкой... Грустнолицая, поблекшая гувернантка совершает свою обычную прогулку с детьми и повторяет им на плохом французском языке обычные замечания. Старый нищий с красным носом и трясущеюся головой бредет в сторонке, искоса поглядывая на полицейского, сладко зевающего и между зевков тихо напевающего что-то унылое и несуразное... Девчонка из модного магазина, в платочке на голове, с картонкой в руках, бежит мелкой рысцой, зорко поглядывая во все стороны живыми, любопытными и уже вызывающими глазами.

Вот на скамье, затягиваясь папироской и чертя по песку тросточкой причудливые зигзаги, сидит юноша – шалопай, московский франт не особенно хорошего тона. Завидя издали стройную фигуру Груни, он быстро, инстинктивно, охорашивается, поправляет шляпу, вытягивает вперед манжеты с огромными запонками, надевает *pinse-nez*<sup>1</sup> и следит за Груней не отрываясь...

---

<sup>1</sup> Пенсне (фр.).

Она в нескольких шагах от него. Он даже глазам своим не верит при виде такой красоты и, едва пропустив ее, устремляется за нею. Он уже два раза перебежал, заглядывая ей под шляпку, но она его не замечает. Он, очевидно, еще не дошел до высшей степени нахальства, а потому, грустно вздохнув, возвращается на бульвар...

Груня прошла Арбатскую площадь, повернула на Арбат и поднялась по широкой, но не особенно опрятной лестнице гостиницы «Гуниб», где остановилась просто по капризу, по воспоминанию тех далеких дней, когда почти каждое утро проходила мимо этого дома и читала эту вывеску. Когда она ехала сюда, накануне вечером, она даже и не знала – существует ли еще этот «Гуниб». Но он оказался существующим.

Она вынула из кармана ключ, вложила его в замочную скважину своего номера и не заметила, что дверь ее оказалась не запертой. Она вошла в большую комнату с двумя тусклыми окнами, с пошлой, уже значительно загрязненной гостиничной обстановкой и вздрогнула от неожиданности – перед нею у окна на неуклюжем, обтянутом выцветшим репсом кресле сидел мужчина.

Это был человек лет тридцати, казавшийся, однако, старше своего возраста, человек огромного роста, с длинными руками и ногами. Он был одет щеголевато и с претензией на изящество. Но эта щегольская одежда совсем как-то не шла к нему. Его коротко остриженные, видимо, изо всех сил прилизанные волосы упрямо топорщились местами. Большое, красное и блестящее от жиру лицо с толстым носом и еще более толстыми губами не особенно скрашивалось желтоватой бородкой. Золотые очки, которыми он прикрывал свои серые, с красноватыми веками глазки, вместо того чтобы придать ему серьезный вид, делали его еще более смешным. Но несмотря на дурноту его и комичность всей этой огромной, угловатой фигуры, вероятно, впрочем, именно благодаря этой комичности, в нем было что-то говорящее в его пользу. От него можно было в первую минуту отшатнуться, но во вторую минуту уже хотелось добродушно смеяться.

При входе Груни он встал с кресла и почтительно раскланялся перед нею.

– Вот и я! – сказал он, и при этом его толстые губы смешно шлепнули одна о другую.

Она уже пришла в себя от неожиданности, и краска вспыхнула на ее щеках.

– Какая дерзость! – воскликнула она. – И как это вы могли забраться без меня в мою комнату... кто вас впустил? Какова гостиница!.. Это уж ни на что не похоже... Извольте выйти!..

– Ни за что! – совсем сгибаясь, грустно, но все же решительно сказал он.

– Но ведь это бессовестно, неблагородно, наконец... Это бог знает что такое!.. Я позвоню...

Она уже подошла было к сонетке, но вспомнила, как еще утром убедилась, что сонетка не действует.

– Ну и что же вы этим сделаете, Аграфена Васильевна? – между тем говорил он. – Скандал – и только... Успокойтесь лучше. Я вас задержу недолго... Да умоляю же вас, успокойтесь, не сердитесь...

Он сделал такую умоляющую и жалобную мину, его лицо было так нелепо и в то же время добродушно, что ее негодование утихло и ей захотелось рассмеяться. Но она не засмеялась. Она присела на стул и строго спросила его:

– Что вам от меня надо?

– Сделать вам визит, поблагодарить вас за приятное знакомство, за милое ваше общество, которым я пользовался на пароходе от Астрахани до Нижнего, и на железной дороге...

– Я вас вчера поблагодарила за ваше общество и за вашу любезность, даже несмотря на то что вы ее в последний день совсем испортили. Вы сначала казались порядочным человеком, но вчера весь день говорили такие глупости, что я серьезно просила вас не продолжать со мною знакомства.

– И я вам серьезно ответил, что сегодня же буду у вас с визитом. Мне легко было узнать, что вы остановились в «Гунибе». Вот фантазия! Но тем лучше: здесь меня давно и хорошо знают. Я сказал, что вы моя двоюродная сестра, и меня впустили в вашу комнату...

Груня снова вспыхнула. В глазах у нее блеснул злой огонек.

– Какая низость! – воскликнула она. – Monsieur<sup>2</sup> Барбасов, прошу вас уйти, оставьте меня в покое.

Он совсем присмирел; улыбка, растягивавшая его толстые губы, исчезла, и он заговорил тихим, грустным голосом:

– Аграфена Васильевна, не обижайтесь, я теперь сам вижу, что поступил скверно... но как же иначе я мог бы вас увидеть? А я не могу вас не видеть – вот в чем дело... да, не могу... не могу! Вы навсегда меня взяли, понимаете: взяли. Я уже теперь не принадлежу себе... я ваш... ваш... вы можете из меня делать, что хотите...

– Я не хочу слушать ваших пошлостей. Что такое: «Я ваш, ваш, вы меня взяли!..» Я вас и не думала брать, потому что вы мне совсем, совсем не нужны, и я могу только презирать тех людей, которые не умеют уважать меня, которые думают пользоваться моей беззащитностью. Но я уж не так беззащитна, как вы думаете, я не боюсь вас, да и никого не боюсь... Уйдете вы наконец?

– Аграфена Васильевна... – Голос его дрогнул. – Простите меня, не прогоняйте так... Я вам говорю, что вы можете делать из меня все, что угодно... Может быть, я еще вам и пригожусь на что-нибудь... Позвольте мне продолжать знакомство с вами! Позвольте мне постараться чем-нибудь, хоть самой малостью, быть вам полезным... Аграфена Васильевна!..

Ничего нельзя было себе представить смешнее его в эту минуту. И вместе с этим в его тоне звучала искренность. Так, по крайней мере, показалось Груне.

Она взглянула на него и весело рассмеялась.

– Барбасов! – сказала она. – Я прощаю вас, но помните, что это в последний раз я вас прощаю!

Он весь так и просиял. Он кинулся к ней с протянутой рукою, и она дала ему свою руку.

– А теперь уходите, мне нужно уложиться, я сейчас переезжаю отсюда.

– Как переезжаете?! Куда? – снова, озадаченный, воскликнул он.

Она засмеялась.

– Этого я не скажу вам... Конечно, вы меня разыщите; но увидим, так ли вам легко будет ворваться ко мне туда, где я буду, как здесь, в этом вашем грязном, противном «Гунибе». Там у меня такой сторож... Покажитесь только...

Ей представилась страшная физиономия Кондрата Кузьмича, и глаза ее засветились еще веселее.

– Где же я увижусь с вами? Дайте же, в самом деле, ваш адрес, позвольте мне заглянуть к вам!

– Ни за что, ни за что!

– Так разве это прощенье?

Ее веселость прошла. Эти внезапные, быстрые в ней перемены особенно ему нравились и особенно его подзадоривали, волновали.

– Если суждено нам быть знакомыми, так мы и будем, – сказала она. – Но помните, что еще хоть один малейший неприличный поступок с вашей стороны – и тогда действительно кончено... А теперь, уверяю вас, я спешу, оставьте меня...

Он понял, что на этот раз она говорит совсем серьезно, а потому простился с нею и вышел.

---

<sup>2</sup> Господин (фр.).

Уходя, он думал: «Экая прелесть!.. Задала ты мне задачу, задала загадку, но я ее разгадаю... Есть ли кто-нибудь? Должно быть, есть, но весь вопрос в том, насколько этот „кто-нибудь“ серьезен... Неужели придется отказаться? Уж чересчур было бы обидно: ведь такую прелесть раз-другой встретил в жизни – да и будет, с огнем ищи – не отыщешь».

## IV. Спасенная

Груня в маленькой бедной комнатке старого домика Кондрата Кузьмича Прыгунова. Окошечко с выгоревшими и по временам переливающимися всеми цветами радуги стеклами выходит в садик. На подоконнике – неизбежные горшки с геранью и жасмином. Вылинявшая запыленная штора с какой-то намалеванной на ней беседкой, заштопанные кисейные занавески, серенькие с розовыми разводами обои, засаленные и вытертые местами. Зеркальце на стене в столетней раме из карельской березы; в углу икона с воткнутой за нею вербою, ветхий столик, весь закапанный чернилами, железная кровать, два стула, два кресла, из старой шерстяной обтяжки которых местами выглядывает мочалка, старинный комод... На крашеном полу неизвестно кем и когда вышитый коврик, давно уже испачканный и изъеденный молью...

Вот какова эта комнатка, да еще и прибранная стараниями Настасьишки. Но Груня почувствовала себя в ней хорошо и уютно, и вечером, часов в десять, простясь с Кондратом Кузьмичом, быстро раздевшись и очутясь в узенькой кровати, она вздохнула полной грудью, как человек давно уставший, много скитавшийся и наконец почувствовавший себя в своем углу, под родным кровом.

Более родного крова, как этот старый домик, у нее не было. Ведь она была несчастная сиротка, крепостная девочка, изведавшая с раннего детства тяжелые впечатления. Подаренная покойной Горбатовой светскою приятельницею, она вдруг, по барскому капризу, из привилегированного положения в доме, из роли полувоспитанницы, полубарышни превратилась в загнанную замарашку, на которой дворня стала безнаказанно вымещать прежний ее фавор. Она выносила всякие несправедливости, брань, побои. Ее судьба ничем не отличалась от судьбы многих, ей подобных, ей оставалось зачахнуть, притихнуть, отупеть, превратиться в животное.

Но она не могла этого, ее детское сердце обливалось кровью и возмущалось, ее мозг начал мучительно работать, в двенадцатилетнем ребенке шла незримая тягостная борьба, закончившаяся почти безумием, закончившаяся отчаянной ненавистью, страстной необходимостью отомстить, «спалить» жестокою барыню... Барыня спаслась, но старый барский дом погиб в пламени...

Совершив это ужасное дело, девочка пришла в неопишувемый ужас и, признавшись в своем преступлении своему единственному на всем свете другу, маленькому барину Володе, она просила убить ее. Но ее не убили. Старый барин, Борис Сергеевич, и незнакомый ей приземистый старик, с лицом страшным и еще более страшными бородавками, увезли ее в Москву. Ее поместили в семье этого самого страшного старика, который оказался таким добрым, что добрее его была только его жена, Олимпиада Петровна. В доме была теперь и дочка их, Сонюшка, только что окончившая курс в институте, томная, востроносенькая барышня, почти целый день читавшая книжки, а, отрываясь от чтения, закрывавшая глаза и время от времени не то от грусти, не то от избытка чувств вздыхавшая. Было еще два подраставших мальчика-гимназиста, таких смешных и диких, но тоже с добрыми лицами. Была, наконец, девочка, почти Груниных лет, бледненькая и маленькая, больная девочка Катя.

Вся эта семья обласкала и пригрела Груню. Олимпиада Петровна сейчас же навезла из лавок полотна и разных материй, призвала белошвейку, одели Груню с головы до ног во все новое, нашили ей всякого платья. Востроносенькая вздыхавшая барышня занялась ее ученьем. Груня для своих лет знала мало, но все же умела читать и писать. Скоро отдали ее в пансион, тут же неподалеку, на Остоженке. Она ходила туда каждое утро к девяти часам и возвращалась к Прыгуновым к обеду. Она спала вместе с Катей, в этой самой комнатке.

Но вот она как-то вернулась из пансиона с тяжелой головою. За обедом ничего не ела, а к вечеру, вся в жару, должна была лечь в постель. Когда утром позвали доктора, он сказал,

что у нее скарлатина, и приказал тотчас же от нее отделить Катю. Но в тот же день Катя снова вернулась на свою кровать, тоже вся в жару, в той же скарлатине.

Через неделю Катю выносили из комнатки уже мертвой, а Груня выздоровела. Потом, гораздо позднее, раздумывая о своей странной жизни, она говорила себе, что всюду приносила с собою несчастье, что даже благодаря ей в приютившую ее семью Прыгунова явилась смерть: ведь это она заразила Катю скарлатиной.

Однако Прыгуновы, горько оплакивавшие свою бедную девочку, не считали Груню виновной, они продолжали ласкать ее по-прежнему, даже, пожалуй, больше прежнего.

Время шло. Проходили годы. Груня жила все в той же комнатке и ходила в тот же пансион. Востроносенькая барышня Прыгунова вышла замуж и уехала с мужем в Харьков. Мальчики вырастали, делались такими неуклюжими и еще более дикими и почему-то становились все больше и больше почтительными с Груней, даже как будто ее боялись. Она могла распрягаться ими как ей вздумается, малейшее ее слово, движение – и оба они взапуски готовы были бежать для нее хоть на край света.

Кондрат Кузьмич и Олимпиада Петровна тоже незаметно для себя стали как будто ей подчиняться, хотя она вовсе не желала этого. Иной раз она капризничала, иной раз она спорила с ними, раздражалась, относилась к ним вовсе не с таким почтением, как бы следовало, но они этого не замечали. Кондрат Кузьмич хотя и покрикивал на нее изредка, но тотчас же и смягчался.

Груня была вовсе не зла и по-своему очень любила всех Прыгуновых, ценила все, что они для нее делали. Каждый раз, допустив себя до раздражения и потом успокоившись, она мучилась и бранила себя, считала себя гадкой, бессовестной, неблагодарной. Она кидалась перед Олимпиадой Петровной на колени, целовала ее руки; затем принималась ластиться к Кондрату Кузьмичу. Олимпиада Петровна сразу же разнеживалась, обнимала Груню, гладила ее по головке и приговаривала:

– Ах ты, огонек мой, огонек, победная ты моя головушка! Ну чего ты... ну чего!.. Знаю я, что ты меня любишь... знаю!..

Кондрат Кузьмич сдавался не сразу. Он хмурился, мычал, потрясал своей страшной головой. Но обаяние дикарки и на него действовало: стоило ей только поглядеть хорошенько в его прятавшиеся под косматые брови глаза – и он начинал таять.

– Отвяжись! – ворчал он. – Есть у меня время с тобой возиться!.. Пойди, долби лучше уроки, а то ведь лентяйка записная... Мадам еще в последний раз, как я ей отвозил деньги, на тебя жаловалась. Ступай, долби уроки!

А сам невольно склонялся над нею и с тихим вздохом целовал ее в лоб, коля ее своим щетинистым подбородком.

Мадам жаловалась действительно, а между тем Груня вовсе не была, собственно говоря, лентяйкой; к тому же она обладала прекрасными способностями. Только она поступила в пансион совсем неподготовленной, так что была посажена в класс с маленькими восьмилетними девочками. Она от них не отставала, напротив, перегоняла их, но все же ей пришлось всегда быть самой старшей в классе по годам, и немудрено, что ей скучно было с этими маленькими подругами, что ничего общего не оказывалось между нею и ними. Она носила в себе свое тяжелое прошлое, не забываящееся, несмотря на новую жизнь, и навсегда ее отравившее. Правда, с годами оно как-то тускнело – это прошлое – и уже редко теперь складывалось перед нею в определенные картины. Но временами оно наплывало на нее, как туман, давило, поднимало в ней тоску.

В такие-то дни она и становилась ленивой, не готовила своих уроков, делалась раздражительной, говорила дерзости классным дамам и учителям в пансионе, а дома – Кондрату Кузьмичу и Олимпиаде Петровне. В такие дни она придиралась ко всему, любила дразнить рыцарски преданных ей гимназистов, Колю и Васю Прыгуновых, издевалась над ними и всячески

ими помыкала. А потом запиралась у себя, бросалась на кровать и, уткнувшись в подушки, рыдала-рыдала, проклинала и себя и всех, чувствовала тоску и скуку, от которых некуда уйти...

Все это были неизбежные следы прошлого. Но вместе с этим в сердце ее прыгал и кричал какой-то «бесенок», по выражению Кондрата Кузьмича, вечный, назойливый и мучительный бесенок, который еще в прежние годы, в Знаменском парке, во время никому не ведомых ее прогулок с Володей, навевал на нее всякие волшебные сны и грезы. Он заставлял ее мечтать о какой-то особенной сказочной будущности...

Этот прежний бесенок не умер – он был жив, он выросал вместе с нею, по-старому то мучил ее, то прикидывался тихим и добрым.

«Разве это жизнь? – назойливо твердил он ей. – Разве это жизнь?» И он принимался представлять всех людей, ее окружавших, в смешном виде. Он показывал ей их, как в зеркале, но только при этом так освещал, что, например, глядя на изображение Кондрата Кузьмича, она уже не замечала его доброты, его христианского смирения, а видела только его грибообразную фигуру, бородавки, смешные манеры и привычки.

Олимпиада Петровна являлась совсем уже глупой, тупой старушкой. Madame<sup>3</sup> – содержательница пансиона – злая ведьма, думающая только о наживе; классные дамы – сплетницы и интриганки, и так далее, все в том же роде.

Ехидный бесенок доказывал все это так ясно, так ясно, что нельзя было с ним не согласиться. А между тем Груня хотела любить всех и даже любила, любила и насмехалась, и терзалась в невыносимых противоречиях.

«Нет, это не жизнь! Жизнь – совсем другое!..» – думалось Груне.

«Да, жизнь – другое!» – твердил бесенок.

Ей представлялась роскошная, залитая блеском зала, полная нарядной толпой... Эстрада... звуки музыки... И она, Груня, – центр всех взглядов... Она поет среди своих придворных дам и кавалеров, она принцесса, героиня, примадонна!.. Вот перед нею склоняется прекрасный рыцарь, и в ответ на слова ее звучит его сладкий голос, наполняющий всю ее душу восторгом, говорящий о волшебной любви, о счастье...

А зал дрожит от рукоплесканий, к ногам красавицы примадонны сыплются букеты, венки, дорогие подарки...

«Володя... Володя!.. Что с ним? Какой он теперь?» – вдруг вспоминает она своего единственного друга, и ей начинает безумно хотеться его увидеть. Но это невозможно: раз навсегда решено, что она с Горбатовым не должна иметь ничего общего. Она видела Бориса Сергеевича несколько раз, по его возвращении из-за границы, в доме Кондрата Кузьмича. Он всегда был очень ласков с нею, но ни разу не упомянул о Володе...

Да если б и позвали ее туда – она не пошла бы, ей страшно и подумать об этом после всего, что было... Она убежала бы непременно, если б ей сказали, что Володя здесь, в доме. А между тем ей все же временами всею силою страстного желания хотелось его видеть... Она не могла забыть его, только мало-помалу его образ начинал принимать фантастические очертания; он часто представлялся ей именно тем склоненным перед нею прекрасным рыцарем...

А время идет. Она по-прежнему в пансионе, по-прежнему сидит в классе и отвечает уроки. И никто как будто не замечает, да и сама она в том числе, что она уже совсем взрослая, совсем развившаяся девушка. Ей девятнадцатый год.

Она вышла настоящей красавицей. Дочь русского знатного барина из знаменитого рода и крестьянки, она наглядно подтвердила на себе теорию обновления старой, вырождающейся расы посредством здоровой новой крови.

Она воплотила в себе тот идеал «русской красной девицы», которая сушила и знобила сердце молодецкое одним взглядом очей соколиных, одним движением черной брови. Это

---

<sup>3</sup> Мадам (фр.).

была именно красота, которая когда-то, во времена царской Руси, выростала в тихом тереме, за затворами, и появлялась на царских смотринах; та красота, перед которой юный властелин останавливался, невольно пораженный и превознесенный до седьмого неба, и протягивал ей свою царскую ширинку – знак сердечного выбора. Тогда на эту красоту избранную поднималась вся царская челядь и терем, старались извести ее всеми мерами, посредством всяких чар, зелий и порчи, зачастую и губили ее безвозвратно...

Груня не готовилась к царским смотринам, ей нечего было бояться порчи; но, уж во всяком случае, ей не место было, с этой созревшей красотой, на ученической скамье маленького пансиона. Она наконец поняла это.

Внезапно решась, она объявила Кондрату Кузьмичу и Олимпиаде Петровне, что хотя ей остается еще целый год быть в пансионе, но она больше не может и ни за что не станет ходить в класс.

Олимпиада Петровна ужаснулась. Кондрат Кузьмич пришел в ярость.

– Это что такое? – закричал он. – Как тебе не совестно? Ведь ты знаешь желание твоего благодетеля Бориса Сергеевича, чтобы ты кончила курс и выдержала экзамен? Да и что же ты, матушка, станешь делать?..

– А что я стану делать, когда выдержу экзамен? Ну, что я тогда стану делать, Кондрат Кузьмич, скажите? Диплом получу... так в гувернантки идти, что ли? Я не могу этого... я не способна... лучше утопиться!..

Кондрат Кузьмич нахмурился и застучал пальцем по столу:

– Ишь ты ведь язык – утопиться!.. Зачем в гувернантки... разве тебе так уж дурно у нас? Я так полагаю: вот ты кончишь курс, диплом получишь, а мы тем временем тебе человека хорошего присмотрим...

Груня вспыхнула.

– Уж этого-то не будет! – воскликнула она. – Никакого хорошего человека мне не надо, и я ни за что не выйду замуж...

– Что же ты намерена с собой делать, мать моя?

– Я хочу быть актрисой.

Олимпиада Петровна всплеснула руками. Кондрат Кузьмич топнул ногой и засеменил на месте. Он даже приподнял указательный палец и стал грозить им Груне.

– И думать не моги! Да что это ты белены, что ли, объелась? Актрисой!.. Нечего сказать – благодарность Борису Сергеевичу!.. За этим он о тебе заботился... о нас я и не говорю – о нас ты немного думаешь... Да как это тебе и в голову могло прийти такое?

На Груню между тем уже находил припадок раздражения.

– Что ж такого дурного быть актрисой?

– Об этом я даже с тобой и говорить не хочу! – объявил Кондрат Кузьмич, свирепо выходя из комнаты.

Но затем он снова вернулся и мрачно прибавил:

– Выбрось ты это из головы, Аграфена, слышишь, выбрось!

Олимпиада Петровна стала было всячески уговаривать Груню, но ее плаксивый тон, ее взгляд на артистическую карьеру как на полнейший позор только еще больше раздражали девушку. Однако она воздерживалась от возражений, ушла к себе в комнатку и заперлась там надолго.

Она решила судьбу свою.

## V. Задумано – сделано

Это было весной. Занятия в пансионе скоро кончались. Груня сделала маленькую уступку – продолжала ходить в пансион, хотя уже совсем почти не готовила уроков. Она кое-как выдержала переходный экзамен в старший класс, а затем, к концу лета, как-то утром ушла из дому и больше не возвращалась.

Переполох был страшный. Груня оставила записку, в которой очень трогательно благодарил Прыгуновых за все их о ней попечение, уверяла их, что ей очень грустно расстаться с ними, но что она не может поступить иначе, что она должна попробовать свои силы на том поприще, к которому чувствует призвание.

Борис Сергеевич Горбатов был в это время в деревне. Кондрат Кузьмич хотел было пуститься на поиски, но Груня исчезла без всяких следов.

– Да где же?.. Как же? Куда?.. Что такое?!

Прыгуновы совсем потеряли голову и, конечно, не могли найти разгадку, пока не пришло первое письмо от Груни из Казани, где она дебютировала. В этом письме она объясняла многое: она в несколько месяцев мало-помалу устроила дело посредством ловкого и, конечно, влюбленного в нее, хотя без всякой надежды на взаимность, молодого человека, которого встречала в доме одной из своих подруг. Она завела сношения с антрепренером, успела с ним лично познакомиться. Антрепренер поразился ее красотой и бойкостью, заставил ее прочесть несколько сцен и предложил ей условия, показавшиеся ей блестящими. Все было решено. У нее в руках оказался задаток. Она хитростью выманила у Олимпиады Петровны необходимые ей бумаги и уехала в Казань. Вот как все случилось.

Конечно, ее можно было заставить вернуться силой, так как она еще не достигла совершеннолетия. Но Горбатов, к крайнему изумлению Кондрата Кузьмича, отказался вмешиваться в это дело.

– Я получил письмо от Груни и ответил ей, – сказал он на все доводы старого дельца. – Надеюсь, что она не пропадет, и, во всяком случае, она пропадет скорее, если мы станем удерживать ее силой, – это уж такой характер...

– Да, бедовый характер, конечно, – воскликнул Прыгунов, – только как вам угодно, а пропала теперь наша Аграфена, совсем пропала!

– Не каркайте, почтеннейший! – ответил ему старик Горбатов со своей тихой и грустной улыбкой.

Каркать действительно было рано, и Борис Сергеевич доказал, что хорошо понял Груню, не пожелав ей противоречить и стеснять ее.

Дело было так. Когда Груня во что бы то ни стало решила достигнуть своей цели и, ввиду встреченного ею в семье Прыгунова противодействия, нашла необходимым поступить тайно, она вся была наполнена только одним: добиться своего, все устроить половчее, уехать. Она ни над чем не задумывалась, не обсуждала свои поступки и только действовала.

Цель достигнута, все устроено – она в Казани.

Тут с нею произошло то же, что и тогда, после ее детского преступления в Знаменском. Она очнулась, взглянула на свои поступки сознательно и почувствовала себя не совсем правой, но не перед Прыгуновыми, нет, – как она их ни любила, но все же в своей юной самонадеянности и гордости считала, что судить ее и осуждать – не их ума дело. Она почла себя неправой перед Борисом Сергеевичем. Хотя она и немного его знала, то есть виделась с ним редко, но он играл в ее жизни первую роль. Он казался ей всегда и продолжал казаться каким-то особенным существом. Она благоговела перед ним и в то же время, хотя это, по-видимому, и не согласовалось с ее природой, даже несколько его боялась.

После своего первого дебюта в Казани она собралась с духом и написала ему горячее, искреннее письмо, излила всю свою душу, все свои мечты, планы. Она уверяла его в необходимости для нее отдаться артистическому призванию, без которого она жить не может, просила простить ее, трогательно выражала свою благодарность.

Борис Сергеевич прочел и перечел это письмо, подумал и написал ей в ответ, что хотя она поступила очень легкомысленно и дурно относительно Прыгуновых, но что, если действительно у нее есть призвание, как она пишет, то он готов извинить ей. Он выразил, что призвание это прекрасно и благородно, но что при ее молодости и неопытности она подвергается огромным опасностям. Он просил ее никогда не забывать этого...

Заканчивалось это письмо так: «Я твердо, однако, надеюсь на твою честность, благородство и чистоту. Помни также, что я всегда готов помочь тебе, и во всякую трудную минуту спешу ко мне обратиться – это будет лучшим доказательством того, что ты ценишь то посильное добро, которое я тебе сделал».

Груня несколько часов проплакала над письмом Бориса Сергеевича, и хотя в ней никогда не замечалось сентиментальности, но все же она не могла оторваться от этого листка бумаги и много раз целовала строчки, написанные старческой, уже дрожащей рукою.

Борис Сергеевич чувствовал, что именно так ей написать надо, – и не обманулся. Это письмо было талисманом, охранявшим Груню в ее скитальческой жизни.

Конечно, опасностей было немало, немало испытаний, а разочарований и того еще больше. Конечно, мечты разлетались мало-помалу, и эта новая «волшебная» жизнь оказалась совсем плохой. Груня попала в самое ужасное общество, какое только можно себе представить, в общество провинциальных актеров и провинциальных театралов. Она дебютировала как драматическая актриса и с первого же появления своего на сцене стала любимицей большинства публики. У нее, бесспорно, были проблески настоящего дарования, хотя игра ее отличалась неровностью и на каждом шагу чувствовалось отсутствие школы.

Если считать ее промахи, их в каждой роли набиралось достаточно; но ее молодость, ее всепобеждающая красота действовали одурачивающе. Конечно, она сразу очутилась центром всяких исканий со стороны молодых и немолодых театралов. Конечно, она встретила с завистью подруг, со злобой, клеветой, сплетнями. Она видела грязные и мелкие закулисные интриги, цинизм и разврат, глупость и невежество, но вместе с этим встретила и доброе к себе отношение.

Она на первых же порах сблизилась с пожилой актрисой, женщиной очень хорошей и доброй и даже не имевшей никакого скандального прошлого, честно и добросовестно зарабатывавшей себе кусок хлеба на театральных подмостках. Эта женщина, с которой Груня и поселилась вместе, была ей в большую помощь, но в еще большую помощь оказался «талисман» Бориса Сергеевича в соединении с ее собственным нравом, с ее самолюбием и гордостью. К тому же в ней, наперекор рассудку, жила неизменно детская мечта об едином друге, об едином идеале – Володе. Все это, вместе взятое, спасло ее от грязи, от падения, от непоправимых ошибок.

Борис Сергеевич, Володя и даже добродушная семья Прыгуновых – все эти знакомые образы заставляли ее свысока смотреть на новых людей, с которыми теперь ей приходилось сталкиваться. Эти двусмысленные интриганки-актрисы, эти нахальные ухаживающие за ней молодые и немолодые люди казались ей ничтожными и жалкими, порой смешными, порой гадкими. Они не могли увлечь ее. Она их не понимала, как и они ее, и ей с ними, по большей части, было просто скучно. В ней не было робости, и мало-помалу развивалась осмотрительность. Она поневоле должна была у себя принимать. Она умела быть любезной и милой; в иные минуты, когда молодая, самолюбивая голова кружилась от аплодисментов, даже веселой; но никогда никому не позволяла она ничего лишнего – ни слова, ни движения, и очень искусно останавливала каждого вовремя.

Если бы ей пришлось жить на одном и том же месте долгое время, то ее молодая честность и неприступность сделали бы ей, конечно, непримиримых врагов, и эти, пожалуй, враги так или иначе подставили бы ей ногу. Но Груня в Казани не засиделась. Она вдруг пришла к убеждению, что это «совсем не то». Несмотря на аплодисменты, она сама разочаровалась в своем драматическом таланте и, окончив зимний сезон, уехала в Тифлис, чтобы давать там концерты.

У Груни был сильный, чистый и мягкий контральто, но совсем необработанный. Она с большой душой, с огнем и силой играла на рояли. Но и здесь сказывалось полное отсутствие хорошей школы. Однако она все же дала несколько концертов, и опять ее красота и молодость, ее скромный и в то же время спокойный вид, наконец, какое-то магнетическое обаяние, исходившее от нее, упрочили за нею успех.

Она появилась на водах в Пятигорске и Кисловодске, произвела фурор, а когда направилась в Кутаиси, то повлекла за собою целую толпу «водяных» обожателей.

Она была довольна этим своим летом, но довольна главным образом потому, что провела его в чудной стране, красота которой так согласовалась с ее поэтическими вкусами. С собой же она была опять недовольна. Она мечтала теперь об опере, но сама сознавала, что это только мечты, что ей нужно много учиться. Она почти уже было решилась ехать в Москву и с помощью Бориса Сергеевича поступить в консерваторию.

Между тем подвернулся новый антрепренер и успел уговорить ее сделать большое путешествие по городам южной России. И вот во второй год своего странствования она промелькнула в Киеве, в Харькове, в Одессе.

Но она истомилась, измучилась; фантазии ее уже совсем почти разлетелись. Она еще не потеряла веру в себя, но чувствовала, что находится на ложной дороге.

Она развилась и как будто несколько постарела душевно за это время, в ней исчезли последние неровности.

Эти два года ее не испортили. Но все же дыхание житейской пошлости, атмосфера людей, с которыми жила она, наложили на нее свой неизбежный след, как будто запылили ее. Она решила, что теперь настала именно такая «трудная минута», о которой ей писал Борис Сергеевич, и поехала в Москву за его помощью.

Дорогой в ее горячий, все быстро решавшей и упрямо стоявшей на своих решениях голове созрел новый план. Да, она должна быть певицей и для этого должна учиться; но не в Москве, не в консерватории, а у «источника», на родине всякой музыки и пения, в Италии.

«За границу, за границу! В Италию!» – таков был теперь немолчный крик ее души, и с этим душевным криком она очутилась в домике Прыгуновых.

Ей пришлось провести не особенно приятный день – старики встретили ее сурово, с глубоким убеждением в том, что она – существо пропащее. К тому же они никак не могли забыть нанесенной им ею обиды – ее бегства из их дома.

Однако Груня все же с ними справилась, пустив в ход самые что ни на есть свои кошачьи ужимки. Старики растаяли. Олимпиада Петровна повела ее к себе и заставила перед образами поклясться, что она «в этом омуте вела себя хорошо и никогда не позволяла с собою мужчинам ничего такого...» Когда Груня поклялась в этом торжественно и всячески успокоила старушку, мир был заключен. Но ненадолго. На следующий же день приехал к Прыгуновым Борис Сергеевич, Груня долго с ним беседовала, и кончилась эта беседа тем, что верный себе благодетель согласился на ее поездку в Италию и сказал, что даст ей все нужные средства для исполнения ее планов. Она приняла его помощь, без которой не могла обойтись, но с твердым решением так работать, чтобы скоро иметь возможность снова самой зарабатывать деньги.

Когда Прыгуновы узнали, что она опять «бежит» да еще и за границу, они стали ее всячески упрашивать не губить себя, она не сдалась, и старики расстались с нею, огорченные и сердитые – «лучше бы и совсем не приезжала...»

Пять лет прошло с тех пор – лучшие годы молодости Груни. Она действительно сильно работала, и скоро имя певицы Фиорини (так для сцены она назвала себя) сделалось известным в Италии. В последние два года она с большим успехом пела в Вене, в Берлине, в Лондоне.

Она уже готова была подписать очень выгодный контракт с американцем-антрепренером, когда внезапная и какая-то странная болезнь горла почти лишила ее голоса.

Груня чуть с ума не сошла от отчаяния, советовалась со всеми известными специалистами по горловым болезням: они ничего не понимали, но в один голос решили, что это «нервное, что болезнь может пройти так же внезапно, как и явилась». «Когда же?» – на это они не могли дать ответа. Груня была как в тумане, но в то же время решила не падать духом.

Из Вены она очутилась в Одессе, где случайно узнала, что ее прежний друг, старая актриса, сильно и безнадежно больна в Астрахани. Недолго думая, послушная одному из своих горячих порывов, она помчалась в Астрахань. Оказалось, что актриса уже давно умерла. Потом все случилось как-то само собою: Груня вдруг появилась на сцене в роли Катерины в «Грозе». Восторгам астраханской публики конца не было; но Груня скоро почувствовала, что ведь это – сон, бред какой-то, что надо очнуться, прийти в себя. Если голос действительно пропал, если надо не петь, а играть, то не здесь же.

Ей становилось все тоскливее, все тяжелее. Ее неудержимо, страстно, как пять лет тому назад, потянуло в Москву, захотелось скорее увидеть те немногие милые лица, которые у нее были в жизни.

Она в три дня собралась и очутилась на волжском пароходе. Когда пароход тронулся, Груня, устраивавшаяся в своей каюте, вздохнула полной грудью, будто большая тяжесть спала у нее с плеч; ей показалось, что она вырвалась из неволи, из тюрьмы, что теперь покончены уже все счеты с опротивевшей, пошлой, измучившей ее жизнью. Ей было приятно при мысли, что она уже не будет видеть этих глупых, нахальных, приторных лиц, окружавших ее в это последнее время, окружавших еще за несколько часов перед тем.

Ей даже казалось, что она навсегда наконец избавлена от этих поклонников якобы ее таланта, из которых каждый глядел на нее как на более или менее доступную добычу. И никогда еще с такой ясностью не представлялась ей унижительность положения молодой красивой актрисы, которую, как бы она ни держала себя, никто не признает за честную, достойную уважения женщину.

Кондрат Кузьмич и покойная Олимпиада Петровна были почти правы... Ей стало очень грустно, но мысль о том, что теперь кончено, что через несколько дней она будет в Москве, ее развеселила. Она вышла на палубу и села под навесом, глядя на воду, следя за зыбью.

– Аграфена Васильевна! – раздалось над ее ухом.

Она с изумлением обернулась и увидела перед собою улыбающуюся, франтоватую и неуклюжую фигуру Барбасова.

«Как-таки не кончено! – с ожесточением подумала она. – И здесь опять то же!..»

Барбасов принадлежал к числу самых горячих ее поклонников за последнее время в Астрахани. Правда, он надоедал ей меньше других, но все же его присутствие, напоминавшее именно то, от чего она бежала, было теперь противно.

Барбасов, молодой московский адвокат, уже получивший известность двумя-тремя крупными делами, очутился в Астрахани именно по случаю одного из подобных дел. Окончив его блистательно, то есть набив себе туго карман, он теперь возвращался в Москву.

– Аграфена Васильевна, вот уж не ожидал такого счастья!.. Мы едем вместе! – восторженно произнес он, щури глаза и шлепая губами.

Она не удержалась.

– Для меня это совсем не счастье, – сказала она. – Я именно бегу от всех вас, господа! От ваших любезностей, комплиментов... Я, право, очень устала, и мне необходимо быть одной... одной.

Он сделал серьезное лицо, насколько это было в его власти, и присел рядом с нею.

– Не гоните меня, – тихо проговорил он, – увидите, что не так черен черт, как его малюют...

И он мало-помалу, заведя интересный разговор, овладел ее вниманием. Он кончил тем, что превратился в очень милого, деликатного и приятного спутника, и Груня даже не замечала, какие по временам он бросал на нее жадные, страстные взгляды. Он исчезал, едва видел в ней малейший признак неудовольствия.

Таким образом, Груня нередко оставалась одна и тогда она начинала раздумывать о Москве. Ей пуше всего надо было увидеть Бориса Сергеевича, она рассчитывала и теперь на его поддержку... И вот его нет – он умер! Вся радость возвращения была отравлена.

Но он написал ей перед смертью, позаботился об ее будущности. Новый талисман имела она от него. И в этих предсмертных строчках старика снова сказывалось его прозорливое сердце.

Он просил ее ни под каким предлогом не тратить оставляемых ей пятидесяти тысяч. «Процентов с этих денег достаточно, чтобы всегда поддерживать тебя, – писал он слабым, дрожащим почерком. – Верю, что ты исполнишь этот завет мой».

Конечно, она его исполнит!.. Но нет его, прекрасного и доброго, не привелось его увидеть...

Она только теперь сознавала ясно, кем он был для нее. Она обвиняла себя за свое долгое отсутствие из России, за эти глупые два месяца в Астрахани и долго-долго не могла заснуть, лежа на узенькой кровати, среди знакомой, бедной и милой ей обстановки.

## VI. На Басманной

Борис Сергеевич не ошибся, избрав свою дальнюю родственницу, Клавдию Николаевну Неромскую, для роли воспитательницы своих внучат и руководительницы всего московского дома. Она, как говорил про нее старый Степан, пришлась «ко двору» и в течение четырнадцати лет исполняла свои многосложные обязанности, если не всегда особенно удачно, по независящим от нее обстоятельствам, то, во всяком случае, добросовестно.

Клавдия Николаевна, бездетная вдова, до переезда к Горбатовым чувствовала себя крайне уставшей, хотя, собственно говоря, сама не могла дать себе хорошенько отчета в причинах этой усталости. Ей просто не доставало цели жизни, теперь же цель нашлась. Она была большая идеалистка и даже мечтательница, иногда не особенно ясно представляла себе действительность, видела ее то в чересчур розовом, то в чересчур мрачном свете, согласно состоянию своих нервов.

Ее легко было обмануть и уж особенно в денежном отношении, так что хозяйственная часть у нее всегда немного хромала. Но большие средства Бориса Сергеевича, которыми держался дом, делали эти промахи незаметными.

У Клавдии Николаевны было очень чувствительное сердце. Она любила всех и каждого, всех, кого знала и кого не знала. Ей доставляло большое наслаждение кому-нибудь услужить, помочь, вывести человека из беды. Она именно любила всех, потому что у нее не было ни одной действительно сильной привязанности.

Посвятив себя воспитанию детей Сергея Владимировича, она этим прежде всего доставила самой себе огромное наслаждение, почувствовав, что дети эти действительно без нее не могут обойтись. Она, еще не узнав их и не разглядев совсем, исполнила свое сердце жалостью к ним и симпатией. Говоря о них со своими многочисленными знакомыми, приятелями и приятельницами, она всегда вздыхала, делала грустное лицо и называла их не иначе, как «эти бедные дети». Так они и остались у нее «этими бедными детьми» во все четырнадцать лет.

Разглядев их, она убедилась, что ей предстоит трудная задача, в особенности по отношению к старшей, Соне. Девочка была избалована до последней степени покойною бабушкой, своевольна, заносчива. В тринадцать лет она уже считала себя за какое-то маленькое божество, перед которым все должны были преклоняться. Клавдия Николаевна решила, что перевоспитает Соню. Но это ей не удалось, как потому, что вообще переделать в корень испорченную тринадцатилетнюю девочку нет возможности, так и потому, что ей мешала жалость к «этому бедному ребенку».

Однако все же она сделала все, что могла, и, вероятно, Соня в других руках вышла бы несравненно хуже.

Ладить с Машей было уже легче, она была меньше испорчена, да и натура у нее оказалась совсем другой. Но, как бы то ни было, благодаря стараниям Клавдии Николаевны обе девочки получили, с общепринятой точки зрения, прекрасное воспитание и образование.

Держать дома на подобающей ноге – на это Клавдия Николаевна была мастерица. Она всегда выбирала для девочек очень представительных гувернанток – француженок и англичанок, не особенно строгих, но и не чересчур податливых. Она завела постоянные сношения с лучшими семьями из старого московского дворянства, где у девочек были сверстницы. Одним словом, их детство и отрочество прошли счастливо и весело.

Не забывая учебных занятий, Клавдия Николаевна заботилась, именно вследствие того, что это были «такие бедные дети», об их удовольствиях. Она устроила веселые танцклассы в огромной зале старинного дома, придумывала различные увеселения. Зимой в саду были всегда каток, горки. Летом вся семья обыкновенно уезжала за границу. В Горбатовское почему-то никогда не ездили, и даже сам Борис Сергеевич в течение этих последних четырнадцати лет

своей жизни был там всего два раза, да и то на самое короткое время. С Горбатовским теперь соединялось в семье слишком много тягостных воспоминаний.

Когда девочки подросли, к ним были приглашены лучшие учителя. Конечно, образование их было несерьезно, но они знали все, что знать требовалось в их обществе. Они имели элементарные понятия о многих науках, прекрасно говорили на трех языках. При этом Маша очень мило рисовала и сделала пастелью довольно схожий портрет бабушки, Бориса Сергеевича, за который все знакомые ее так расхвалили, что она успокоилась на лаврах и вдруг совсем почти охладела к живописи.

У Сони оказался небольшой музыкальный талант. Музыкант Дюбюк, бывший тогда в Москве в большом ходу как учитель музыки, без особенных угрызений совести объявлял ее за глаза и в глаза чуть ли не самой лучшей своей ученицей. Она также пела тоненьким чистеньким сопрано, и на ее долю выпало немало аплодисментов в московских гостиных. Сама она считала себя необыкновенной музыкантшей и певицей и была уверена, по крайней мере в минуты откровенности признавалась в этом многим, что если бы ее положение позволяло ей поступить на сцену, то, конечно, она затмила бы самых первоклассных артисток.

Она не пропускала ни одного представления итальянской оперы, и Клавдия Николаевна, понемногу старевшая и все больше страдавшая своими нервами, иногда выказывала настоящее самоотвержение, сопровождая ее и возвращаясь домой с мучительной мигренью. Соня тоже иной раз уже позевывала в театре, прикрываясь веером, и с нетерпением ожидала антракта, когда к ним в ложу входили допускаявшиеся по выбору Клавдии Николаевны безукоризненные молодые люди. Но не быть в опере аккуратной на каждом представлении своего абонента и в бенефисы она не могла, желая сохранить репутацию «серьезной артистки».

Никто не слышал от Сони искреннего восхищения каким-нибудь певцом или певицей, она всегда находила в них недостатки и презрительно пожимала плечами.

Москвичей сводила с ума в те годы madame Арто в роли Маргариты и Розины, но Соня была недовольна и ею. Она у себя дома повторяла ее арии и находила, что исполняет их несравненно лучше «этого уroda», которым неизвестно почему восхищаются. Один только тенор Станио снискал было ее милостивое к себе расположение, он даже был ей как-то представлен и даже один раз пел у них в доме. Но избалованный, не особенно благовоспитанный итальянец не сумел достаточно преклониться перед знатной барышней-дилетанткой – барышень он избегал, предпочитая им московских барынь. Он отнесся к Соне, как ей показалось, довольно равнодушно. С этого дня она выбросила из своего альбома его портреты и затем стала находить, что его голос слабеет и портится с каждым новым представлением...

Соня и Маша совсем выросли. Их учебные занятия прекратились. Англичанка и французенка сменились «demoiselle de compagnie»<sup>4</sup>, пожилой девицей, баронессой Кнорре из обедневшего, но безукоризненно приличного семейства. Эта баронесса, со своим уже увядшим, но довольно приятным лицом, с прекрасными манерами, образованная, начитанная, представлялась Клавдии Николаевне именно такой особой, какая нужна была в данных обстоятельствах. Она была способна заменить ее в тех случаях, когда мигрень, доведенная до последней степени, заставляла даже «этих бедных детей» превращаться в «этих несносных детей».

Итак, Соня и Маша, шапронируемые<sup>5</sup> то Клавдией Николаевной, то баронессой Кнорре, блистали в лучшем московском обществе. Обе они считались красивыми девушками. Соня вышла совсем похожей на свою бабушку Катерину Михайловну: небольшого роста, стройная и грациозная, белокурая, с нежным румянцем, с томными глазками и щебетаньем птички. Сходство с бабушкой не ограничивалось одной внешностью – она унаследовала от нее и многие свойства характера, только иная эпоха и различные подробности в обстановке и воспита-

---

<sup>4</sup> Фрейлиной (фр.).

<sup>5</sup> Шапронировать (фр. *chaperonner*) – сопровождать, опекать.

нии несколько изменили это родовое сходство. Но у птички, во всяком случае, были острые коготки, а язычок иной раз не знал себе удержу.

Маша была в ином роде. Чуть ли не на голову выше сестры, почти брюнетка, с темно-серыми глазами, с густо каштановой косою, несколько массивная, она, собственно, ни на кого из родни особенно не была похожа, да и лицо ее часто менялось. Иной раз она казалась просто некрасивой: глаза без блеска, какое-то безучастное или неизвестно почему изумленное выражение. Но в минуты оживления и веселья она преображалась: на губах ее появлялась живая, прелестная улыбка, тотчас же ее скрашивавшая и привлекавшая к ней всякого. Это была улыбка ее прабабушки, красавицы Татьяны Владимировны.

Маша оставалась покуда для всех, знавших ее, загадкой.

Клавдия Николаевна, говоря о ней, совсем закрывала глаза, грустно пожимала плечами и шептала:

– *Cette pauvre chère enfant – c'est une énigme!.. On ne sait jamais ni ses sentiments, ni ses pensees... Mais elle est bonne... oh, elle est bonne, la pauvre petite!..*<sup>6</sup> – прибавляла она, глубоко вздыхая.

Даже московская молодежь – и та признавала Машу иероглифом. На нее иногда находили целые недели какого-то апатичного состояния: она делалась молчаливой, почти ко всему безучастной и даже иной раз отказывалась от выездов, ссылаясь на нездоровье.

Тогда Клавдия Николаевна била тревогу, посылала за доктором. Но доктор уверял, что никакой болезни нет и не предвидится.

«Может быть, скучает барышня или забилося сердечко. Выйдет замуж – повеселеет...»

«Выйдет замуж». Этот вопрос уже начинал не на шутку тревожить Клавдию Николаевну. Вот Соне уже минул двадцать один год. Маше скоро девятнадцать. Выдать их обеих замуж – это было необходимо, этим добросовестная воспитательница должна была завершить доброе дело своей жизни.

Когда она поверяла приятельницам свою заботу, ей обыкновенно объясняли, что в женихах-то у ее воспитанниц не будет недостатка – такое имя, такое богатство и такие хорошенькие!..

– Хорошенькие... да, пожалуй... *oui, certainement, elles sont jolies, les pauvres petites...*<sup>7</sup> имя... конечно...

Она успокаивалась на короткое время.

О богатстве их она как-то не думала – это уж дело Бориса Сергеевича... Однако женихи, несмотря на красоту и богатство невест, все же заставляли себя ждать.

И Соня, и Маша всегда были окружены, но до сих пор никто еще не решился ясно высказаться, так как они, каждая в своем роде, держали себя чересчур холодно и недоступно.

Наконец Соня пленила сердце некоего юноши, князя, обладателя довольно расстроенного состояния и больших связей, недавно с грехом пополам окончившего университетский курс, служившего у генерал-губернатора и совершенно уверенного в своей блестящей административной карьере. Юноша был очень недурен собой, его разрывали на части в обществе. Он считался в Москве первым женихом.

Соня была к нему милостива.

И вот он сделал ей форменное предложение, в полном расчете на ее согласие. Каково же было его изумление, когда она ему отказала, отказала напрямик, и приняла при этом даже какой-то оскорбленный вид.

---

<sup>6</sup> Это бедное милое дитя – загадка!.. Мы никогда не узнаем ни ее чувств, ни ее мыслей... Но она хорошая... о, она хорошая, эта бедная малышка!.. (*фр.*)

<sup>7</sup> Да, конечно, они милые, бедные малышки (*фр.*).

Князь не поверил, что это серьезно, и подослал к Клавдии Николаевне одну из своих тетушек.

Клавдия Николаевна спросила Соню.

Та разразилась насмешками над претендентом.

– Как, чтобы я вышла замуж за такого ничтожного человека, за этого мальчишку?! Я еще не сошла с ума... Я удивляюсь даже, как вы об этом можете серьезно со мною говорить.

Клавдия Николаевна изумилась.

– Почему же, друг мой? Он очень приятный молодой человек, любим всеми... с будущностью... из почтенной семьи... Ты бы ничуть себя не уронила... Право, он лучший жених в Москве...

– Очень может быть! – отвечала Соня, нервно передернув плечиком и сделав презрительную минку. – В таком случае желаю ему лучшую московскую невесту. Я же за него выходить замуж не намерена, и, пожалуйста, не будем больше об этом говорить...

– Если желаешь – не будем. Но смотри, потом пожалеешь, пожалуй!

– Не беспокойтесь, не пожалею! – засмеялась Соня.

После «первого» московского жениха «вторые» уж не совались. Соня осталась неизбежным украшением всякого бала в московском обществе, но ее не любили, и эта общая нелюбовь к ней развивалась больше и больше. Сама она, конечно, не замечала этого.

Но она, по крайней мере, отказала лучшему жениху, Маша никому не отказывала, у нее просто женихов не было. Почему так случилось – неизвестно. Эти две красивые, богатые и знатные девушки скоро отчего-то перестали совсем даже и считаться невестами в толпе московских и время от времени наезжавших из Петербурга женихов.

## VII. Кокушка

Воспитанием Сони и Маши не ограничились заботы Клавдии Николаевны. В течение этих четырнадцати лет ее бедные нервы несравненно больше терзал Коля.

Этот мальчик сначала рос и развивался совершенно правильно. Родные называли его даже богатырем – такой он был крупный, крепкий, сильный и румяный. Правда, он лишился матери, будучи четырехмесячным ребенком. Но эта мать, юная и легкомысленная светская женщина, не занималась ни одним из своих детей, предпочитая этому постоянные выезды и приемы.

Таким образом, Коля с первых дней своей жизни был воспитан ничуть не иначе, как его брат и сестры. Он рос, окруженный штатом нянек и гувернанток. Никакого несчастного случая с ним в детстве не было. Он никогда не падал и не расшибался, все болезни детского возраста вынес своевременно и удачно, был мальчик хотя довольно спокойный, но несколько не апатичный, шалил, как все, веселился, как все, и каждый, глядя на него, непременно должен был сказать: «Какой прелестный ребенок!»

Так продолжалось лет до девяти; но потом, уже в московском доме, уже во время Клавдии Николаевны, Коля стал изменяться, изменяться не вдруг, а незаметно, мало-помалу, так что нельзя даже было с точностью определить эпоху этого изменения и уж тем более уловить ее причины.

До того он хорошо учился, но вот начал лениться или, вернее, становился непонятливым; когда ему что-нибудь объясняли, он слушал внимательно, но по его глазам видно было, что он ничего не понимает.

Память у него стала пропадать, и к десяти годам он уже совсем имел вид ребенка, остановившегося в своем развитии.

Когда Клавдия Николаевна поняла наконец эту ужасную перемену в мальчике, она пришла в ужас. Созвали докторов; те в один голос решили, что болезни у Коли ровно никакой нет и что лечить его, собственно говоря, не от чего, никакое лечение не поможет ему стать умнее и способнее.

– Да что же это? Отчего такое могло случиться? – тревожно спрашивала Клавдия Николаевна.

Доктора пожимали плечами и могли только ответить, что такое бывает нередко, что не всем же быть одинаково развитыми и умными.

Впрочем, нашелся один молодой и многообещающий доктор, который на вопрос Клавдии Николаевны спокойно ответил:

– Это вырождение.

– Какое вырождение? – испуганно встрепенулась Клавдия Николаевна, забывая даже свою мигрень, невыносимо ее в тот день терзавшую.

– Так, вырождение – и ничего больше, – повторил доктор, – закон природы, неизбежное действие времени и различных жизненных условий. Когда-нибудь все это будет подробно разработано и выяснено, теперь же мы можем только констатировать факты и делать наблюдения. Не позволите ли вы мне время от времени навещать вас не в качестве доктора – лечить мальчика нечего, – а в качестве наблюдателя для научной цели?

Но Клавдия Николаевна почувствовала к молодой знаменитости за такие его ужасные слова, а главное, за равнодушный, спокойный тон, каким он произносил их, почти отвращение. Она учтиво отклонила его просьбу, сказав, что хотя она и уважает науку, но в настоящем случае ей даже и до науки нет дела.

Придя в себя по отъезде доктора, она стала раздумывать и решила, что он сказал вздор.

«Как вырождение?! Это еще что за новость! Это он и про меня скажет, что я вырождаюсь! Он, верно, из нынешних, что готовы отрицать и Бога, и все прекрасное, возвышенное, благородное. Вырождение! Скажите, пожалуйста!.. Так что же это? Потому что у человека целый ряд знаменитых прославленных предков – он должен быть идиотом?! Voilà une idee<sup>8</sup>!..»

А между тем от каких бы то ни было причин, но состояние бедного Коли ничуть не улучшалось. Даже отец его, Сергей Владимирович, изредка наезжавший в Москву, смутился, хотя вообще на своих детей он и не обращал никакого внимания.

Старик-дедушка, Борис Сергеевич, пробовал было лечить мальчика своими азиатскими лекарствами, но и эти лекарства не принесли пользы.

Тогда Колю каждое лето начали возить за границу, подвергая его всяким испытаниям, показывая всем специалистам. Даже раз привезли с собою из Берлина в Москву какого-то немца в рыжем парике, который ручался, что через шесть месяцев сделает Колю способным к прохождению всех наук.

Но прошел целый год, немцу были заплачены большие деньги, а Коля оставался все тем же.

До четырнадцати лет он рос очень быстро, потом вдруг перестал расти и стал раздаваться в ширину. К восемнадцати годам это был приземистый, широкоплечий юноша цветущего вида, обрастающий уже бородою. Если бы не стеклянный взгляд бледно-голубых глаз и не косноязычность, развившаяся у него, хотя в детстве он говорил совсем ясно и правильно, в нем нельзя было бы заметить ничего особенного.

Коля вовсе не был идиотом, и точно определить, что он такое, не представлялось никакой возможности. Он умел читать и писать, понимал и даже объяснялся по-французски. Он имел о себе очень высокое мнение, любил и уважал себя и заботился о своей внешности, помадил, душил, ходил к парикмахеру завиваться, был всегда одет франтом.

Он не только знал все свое родство, но с особенной любовью, даже страстью изучил генеалогию своего рода и, на все остальное почти беспамятный, мог, когда угодно, с полной точностью и не перепутав ни одного события, ни одного года, рассказать биографию любого из своих предков. Он чрезвычайно гордился своим происхождением и считал себя и своих самыми знатными людьми в России.

Он любил общество, собрания, визиты и так тосковал и выходил из себя, когда его вздумали держать в отдалении, что добился своего – получил полную свободу. В московском обществе его знали под именем Кокушка, всюду принимали, и кончилось тем, что он превратился даже в одно из московских развлечений, почти в шута, забавника.

Эта его роль особенно мучила как старика Горбатова, так и Клавдию Николаевну. Но с Кокушкой ладить становилось все труднее. Его можно было убедить в чем угодно, заставить поверить всякой нелепости, легко подвигнуть на самый невероятный поступок, в нем замечалось полное отсутствие сознательной воли; но вместе со всем этим он в некоторых случаях выказывал ничем не победимое упорство. Он очень рано почувствовал стремление к свободе, и его гувернерам приходилось плохо – не было почти такой злой шалости, которую бы он не привел в исполнение, чтобы только насолить им, чтобы они как можно чаще от него отказывались.

Он добился своего – гувернеры менялись чуть не ежемесячно. Наконец Кокушка начал твердить, что он никаких гувернеров не хочет, что он взрослый. Сделали пробу и увидели, что он действительно без гувернера ведет себя лучше. Но нельзя же было оставить его, хоть и двадцатилетнего, без всякого надзора, его надо было оберегать от вредных знакомств, тем более что он любил иногда знакомиться неведомо с кем на улицах, на бульварах.

---

<sup>8</sup> Вот ведь идея! (фр.)

За ним был учрежден тайный и осторожный надзор; но на этот счет Кокушка оказывался удивительно чутким, он несколько раз подмечал, что за ним следят, и это приводило его в бешенство.

К двадцати трем годам он значительно остепенился, он уже так поднялся в собственном мнении, что начал считать для себя неприличным заговаривать на улицах и бульварах с незнакомыми – он удовлетворялся только избранным, высшим кругом. Даже и своих давнишних знакомых разделил на категории сообразно с их происхождением, богатством и положением в обществе. У него явились различные оттенки в обращении с людьми.

Вместе с этим в нем стало развиваться некоторое свойство, по-видимому, совсем противоречившее его чину и званию «дурачка», а именно тонкая наблюдательность и ехидство. Он подмечал все слабости своих ближних, отлично знал, чем и кого уколоть и пользовался всяким удобным случаем сделать это.

Принятый всюду запросто, без церемоний, на правах дурачка, он видел закулисную сторону жизни московского общества. Ему часто делались известными такие семейные тайны и отношения, о которых не мог догадаться и самый тонкий человек.

И не перечсть, сколько Кокушка, переносясь из одного дома в другой, вывел сплетен, сколько неприятностей наделал московским дамам и кавалерам. Ему все прощалось, все сходило с рук: ведь это был Кокушка – дурачок. Он продолжал всюду влетать без доклада, с ним дурачились, над ним потешались, его дразнили.

И уж, конечно, никому и в голову не могло прийти, что этот дурачок, хоть и бессознательно, а все же ловко и удачно ведет войну с обществом.

Это общество не находило предосудительным и жестоким потешаться над существом, обиженным природой, дразнить его всячески и даже иногда просто мучить. Но у Кокушки все неприятные ощущения проходили очень быстро, от самой злой над ним шутки и обиды через час какой-нибудь в нем ничего не оставалось. А зло, причиняемое его языком, иной раз имело очень серьезные последствия.

Кто же оставался в накладе?

В семье Кокушка уважал только деда, и когда тот за что-нибудь выговаривал, он очень смущался и тихонько твердил:

– Я... бо... больше не буду, дедушка!

Клавдию Николаевну он недолюбливал, считая ее главной виновницей всех когда-либо испытанных им стеснений. Он называл ее сосулькой, и, глядя на нее в иные минуты, когда она, бледная, почти прозрачная, мучимая мигренью, бессильно опускала руки и говорила умирающим голосом, нельзя было не согласиться с меткостью этого прозвища: действительно, вот-вот сейчас растает...

Старшего брата, Владимира, всегда с ним ласкового, Кокушка неизвестно почему боялся, к Маше был презрительно равнодушен, а Соню ненавидел всеми силами души своей.

Правду сказать, она сделала все, чтобы заслужить это. Она никогда его не жалела, она видела в нем только вредное и противное существо, которое срамит их дом. Раз как-то, рассерженная им, она крикнула, что его следует запереть в сумасшедший дом, надеть на него горячую рубашку.

Кокушка вдруг притих, задрожал, побледнел и ушел в свою комнату.

«Сумасшедший дом» и «горячая рубашка», о которых нередко распространялись в разговорах с ним его умные приятели, были его кошмаром.

Он никогда не мог забыть этой угрозы сестры и мстил ей всячески. Смутить ее, сконфузить при посторонних, посмеяться над ее музыкой, пением и другими слабостями доставляло ему, по-видимому, величайшее наслаждение.

Но все же нельзя сказать, чтобы у Кокушки совсем не было сердца, чтобы у него не было хороших порывов. С ним был, например, такой случай. В одну из последних своих поездок

за границу семья Горбатовых остановилась дня на три в хорошеньком горном городке южной Германии.

Едва успели барышни и Клавдия Николаевна прийти в себя с дороги и переодеться, как к ним вбежал, совсем запыхавшись, Кокушка и объявил, что по соседству с гостиницей пожар. Все отправились туда. Горел небольшой домик. Он был уже весь объят пламенем, когда изнутри вдруг послышались отчаянные детские крики и в одном из окошек показалась голова маленькой девочки. Все оцепенели от неожиданности и ужаса; но вот какой-то человек бросается почти в самое пламя, врывается в домик и среди грохота обрушивающейся крыши выносит на своих руках девочку.

Этот герой оказался Кокушка, бывший всегда величайшим трусом. Он не мог не понимать очевидной опасности, которой подвергался; сердечный, инстинктивный порыв оказался выше всяких соображений. Правда, потом Кокушка немилосердно хвастался своим героизмом, пока сам наконец не забыл о нем...

## VIII. Наследники

Смерть Бориса Сергеевича не была неожиданностью в семье Горбатовых.

Старик уже с весны чувствовал себя очень дурно, и его постоянный доктор объявил Клавдии Николаевне, что он не предвидит хорошего исхода. И когда он сказал ей это, она уж и сама понимала, что он говорит правду.

– Боже мой, так что же нам делать? Ведь должна же быть какая-нибудь возможность продлить его жизнь!.. Куда нам ехать, чем поддержать его? Мы собирались на лето за границу, и он, по обыкновению, хотел ехать с нами... Куда же – в Карлсбад, Эмс, Гаштейн?.. Скажите...

– Никуда! – решительно ответил доктор. – Вести его теперь за границу – значило бы только сократить последние остающиеся ему дни и при этом понапрасну его измучить. Ему нужно спокойствие – и больше ничего. Страданий особенных не предвидится. Мы будем поддерживать его сколько возможно, ему необходимо остаться здесь. Да и сам он мне только что сказал, что никуда не хочет, что готов бы был отказаться от путешествия; следовательно, устройте так, чтобы его не тревожить...

Устроить, конечно, было нетрудно. Узнав о положении дедушки, не только Маша, но даже и Софи, уже приготовившаяся к поездке за границу и строившая на это лето планы, не нашли никаких возражений. Сначала хотели было совсем остаться в Москве, но затем наняли просторный прекрасный дом, старую барскую усадьбу в нескольких верстах от города и, как только установилась погода, переехали туда и перевезли Бориса Сергеевича.

Это было унылое, однообразное лето, и даже Кокушка приутих. Его почти не было видно и слышно.

Борис Сергеевич проводил время, окруженный докторами и внучатами, а когда все они расходились, на их место являлся неизменный и все еще бодрый Степан. Он раньше всех понял, что его господину и другу недолго остается жить на свете. Ничем не выразил он своего тяжкого горя, только пользовался каждой минутой, чтобы быть с ним или возле него, не подпуская к нему никого из прислуги и ухаживал за ним, как нянька.

Борис Сергеевич, действительно, как предсказывал доктор, страдал немного. Он только почти совсем потерял аппетит, почти не спал и с каждым днем чувствовал все большую и большую слабость. Но эта слабость не действовала на его мозг – его мысли были ясны, и он как-то объяснил Степану, уже в начале июня, то есть всего за месяц перед смертью:

– Странное дело, Степушка, ведь мне становится все лучше и лучше!.. Весною что было невыносимо – этот туман в голове... Иной раз, веришь ли, по целым часам не мог собраться с мыслями, расплывается все как-то, ни на чем нельзя остановиться... хочешь думать о чем-нибудь одном, и нет вот, нет сил... Такие дни бывали, что казалось мне – уже я и не жив, да и не умер, то есть что-то такое тяжкое, противное, чего и рассказывать невозможно... А теперь вот с некоторого времени совсем не то: руку поднять тяжело иной раз, а в голове свежо и ясно, даже так ясно, как, может, и давно не бывало...

– Ну и слава богу! – стараясь вызвать на своем лице улыбку, прошептал Степан.

– Конечно, слава богу, если бы только так до конца продолжалось.

Степан вздрогнул.

– А конец уж теперь скоро, – продолжал Борис Сергеевич, – и я рад... и ты со мною радуйся, Степушка!..

Но Степушка, несмотря на то что понимал мысль барина, все же не мог радоваться. Об одном он всегда просил Бога: не оставить его на свете без Бориса Сергеевича. Но молитва его не услышана...

Между тем больной продолжал:

– И зачем они все меня обманывают, толкуют о выздоровлении, и главное, как будто я боюсь смерти?.. Да она мояжданная, желанная гостья... может, давно уже зову ее, только не приходила.

Борис Сергеевич вдруг замолчал, закрыл глаза, и через несколько минут Степушка даже подумал, что он заснул.

Но он не спал. Ему ясно, подробно и спокойно представилась вся жизнь, и он внутренне назвал ее долгим, тяжелым сном. Зачем она была?.. К чему она привела его? Что сделал он с нею?.. Он терпеливо ее вынес – и только... Кому она была нужна?..

Он вообще никогда не задавал себе вопроса, что он за человек, какая ему цена, и теперь готов был решить этот вставший перед ним вопрос в том смысле, что он был человеком совсем неудачным, которому и незачем было жить на свете.

Однако он не в состоянии был сделать себе беспристрастную оценку. Он вовсе не был неудачным человеком, потому что добросовестно исполнил дело своей жизни, никому не сделал зла, а добра сделал много, хотя оно и не кричало, не превозносилось. Вся жизнь его была стремлением к справедливости и правде. Он с юности вел неустанную внутреннюю борьбу и умирал победителем, умирал человеком света и правды...

Через две недели доктора сказали, что теперь уже скоро все кончится. Клавдия Николаевна поспешила известить всех родных.

Борис Сергеевич вдруг потребовал, чтобы его непременно перевезли в московский дом, объявил, что он желает умереть там, у себя. Желание его было исполнено. К первому июля съехались родные, то есть оба племянника, Сергей и Николай, жена Николая, Марья Александровна, и сын их, Гриша, молодой офицер. Владимир приехал еще раньше.

Борис Сергеевич призвал Прыгунова, уже пятнадцать лет занимавшегося его делами, сделал все распоряжения, обо всем и обо всех позаботился и спокойно ждал смерти.

Кто знал этих съехавшихся к постели умиравшего людей пятнадцать лет тому назад, тот должен был найти в них всех огромную перемену. Сергей Владимирович производил теперь даже тягостное впечатление. Ему еще не было и пятидесяти лет, но он имел вид старика. Когда-то густые, чудесные его волосы совсем почти вылезли, а остатки их поседали; тонкий стан согнулся; широкая богатырская фигура как-то опустилась, лицо, изборожденное морщинами, потеряло прежнее добродушное и милое выражение, и уже почти никогда не играла на губах его та улыбка, которая привораживала к нему почти всех и заставляла забывать его слабости. Здоровье его было совсем разбито.

Перемена, происшедшая в Николае Владимировиче, была совсем иного рода, но она, пожалуй, поражала еще больше. Это был теперь какой-то странный человек, производивший самое неожиданное и непонятное впечатление. Прежних порывов, прежних неровностей характера в нем не было и следа.

Вернувшись в Петербург из своего таинственного путешествия по Азии, длившегося несколько лет, он оказался как будто совсем перерожденным. Он поселился вместе с женою и сыном, но отказался от всякой общественной деятельности и почти избегал общества.

Как он жил, как проводил время за запertыми дверями своего кабинета, он, этот прежний живой, страстный человек, способный, имевший влияние, жаждавший деятельности, этого никто не знал. Какова была его семейная жизнь – тоже не знал никто.

Кончили тем, что даже стали считать его помешанным, хотя при редких столкновениях с обществом он всегда рассуждал очень спокойно и основательно. Он просто ничем не интересовался из того, чем интересовались окружавшие его люди. Он не принимал участия в общей жизни.

Многочисленная прислуга петербургского горбатовского дома знала, что барин сделался очень странным, что он иногда совсем как живой мертвец, так, что даже с ним страшно встре-

чаться, и особенно страшно, когда он взглянет – глаза словно огненные, а так холодно от них становится, что, кажется, бежал бы от такого взгляда.

Удивляли тоже прислугу и отношения между барином и барыней. Они жили на разных половинах, иной раз не видались по целым дням, а между тем никто и никогда не слышал между ними ничего, указывавшего на их недовольство друг другом. Напротив того, оставаясь вместе, они всегда беседовали ласково и относились друг к другу с большой предупредительностью, почти даже с нежностью.

С такой же предупредительностью относился Николай Владимирович и к сыну.

Во всяком случае, это была такая странная жизнь, что если она не возбуждала всеобщего любопытства, так единственно потому, что люди ко всему привыкают, а привыкнув, не замечают того, что прежде бросалось в глаза.

Что касается до Марьи Александровны, то, по общим отзывам прислуги (а это значит весьма много), она была совсем святая.

– Да, уж нечего сказать, хорошая барыня, – говорить о ней в людских и кухне, – такую всю жизнь искать – так не найдешь. Никто-то от нее дурного слова не слышал, а добра сколько делает!

– И ведь что удивленья достойно, – замечал старый дворецкий, пользовавшийся всеобщим уважением, – ведь при покойнице, при Катерине Михайловне, совсем она была другая... А это вот с тех самых пор ее и не узнать...

И все отлично понимали, что должно подразумевать под этими словами: «с тех самых пор».

Да, Мари никто бы не узнал теперь. Несмотря на то, что ее молодость уже прошла, она все еще была красивая женщина. Прежней излишней полноты в ней не было заметно, не было заметно также и в лице ничего тусклого, рассеянного. Лицо ее было просто спокойно, а в светлых глазах неизменно читалось выражение доброты и тихой грусти.

Но, несмотря на это грустное выражение, никому и в голову не могло прийти жалеть ее, в ней не было ничего говорящего о несчастье, напротив, она была всегда бодрa, спокойна и энергична.

Она наполнила свою жизнь сознательной деятельностью, работала неустанно на пользу ближнего и, принимая участие в каком-нибудь благотворительном учреждении, давала ему не только свое имя и денежные средства, а давала свою действительную работу. И теперь в этот тихий, приунывший московский дом она внесла с собою присущую ей атмосферу спокойствия и бодрости.

Михаил Иванович Бородин, тоже приехавший, остановился не в доме, а в гостинице. Теперь в Москве у него уже не было близких людей. За эти годы ему пришлось похоронить их всех. Умерли старики Бородины почти одновременно; умерла, еще прежде них, Капитолина Ивановна. После смерти отца и матери Михаил Иванович перевез жену и детей в Петербург и прекратил свои поездки в Москву.

И в нем произошла своего рода большая перемена: в его волосах тоже серебрилась седина, на его красивом лбу и вокруг темных полузакрытых глаз насчитывалось немало морщинок. Но он был крепок и бодр. Глядя на него, невольно всякий должен был сказать: вот человек, стоящий твердо, знающий себе цену и довольный жизнью.

Он стоял твердо. Его лучшая мечта осуществилась... Он в настоящее время занимал видное положение на службе, но еще большее у него было значенье в финансовом мире. Михаил Иванович стал теперь силой, перед которой преклонялись многие и с которой приходилось считаться. Все его финансовые предприятия оказывались удачными. Его богатство росло с каждым годом, его уже иначе не называли, как миллионером.

Борис Сергеевич умер в сознании, простясь со всеми, благословив всех, умер как праведник, выражаясь словами осиротевшего и неутешного Степана.

Когда завещание было вскрыто, оказалось, что все свое состояние, заключавшееся в недвижимой собственности, родовых имениях, он поровну оставил двум племянникам, Сергею и Николаю.

Кроме недвижимой собственности у Бориса Сергеевича был большой капитал, хотя далеко и не такой, как многие думали. Старик, живший всегда сравнительно скромно, тем не менее тратил в эти последние пятнадцать лет огромные деньги. Сергей Владимирович знал кое-что об этом, а еще больше знали его кредиторы. Знал тоже кое-что и Михаил Иванович Бородин, постоянно возраставшее состояние которого имело своим главным основанием и постоянной поддержкой деньги Бориса Сергеевича.

Старик оставил после себя два с половиной миллиона деньгами. Пятьсот тысяч переходили по завещанию не к прямым наследникам, а к разным лицам; в том числе полтора ста тысяч рублей получила Клавдия Николаевна, пятьдесят тысяч – Груня, пятьдесят тысяч – Прыгунов, бывший в последние годы самым близким человеком Бориса Сергеевича, тридцать тысяч – Степан.

Всех лиц, о которых вспомнил умиравший, насчитывалось до ста.

Два же миллиона были поровну разделены между детьми Сергея Владимировича.

Тело Бориса Сергеевича в сопровождении всех родных и Бородина было перевезено в Горбатовское и похоронено в родовом склепе.

Затем все вернулись в Москву для исполнения необходимых формальностей...

## IX. Бывшие друзья

Сентябрь уже перешел за половину, а погода не портилась. Стояли чудесные дни, и только быстро осыпавшиеся листья напоминали о том, что пришла настоящая осень.

Кондрат Кузьмич, несмотря на старость, ни в чем не изменивший свои привычки, посещал аккуратно все церковные службы и почти ежедневно отправлялся на Басманную, где у него, по случаю смерти Бориса Сергеевича, еще было много дела. Таким образом Груня почти целые дни оставалась одна дома.

Уже шестой день как она приехала, а между тем всего один раз вышла прогуляться на бульвар, да и то скоро вернулась. Ее никуда не тянуло, она не хотела разыскивать своих прежних знакомых и приятельниц, не зная, как ее встретят после стольких лет ее скитальческой жизни.

Она почти все время проводила в садике, в старой беседке, иногда с какой-нибудь книгой из библиотеки Кондрата Кузьмича, а чаще всего так, сложа руки, отдаваясь не то раздумью, не то просто лени. Да, лени: физическая лень ее одолела, всегда энергичную, живую и подвижную. Она будто теперь только почувствовала за все эти годы усталость – и отдыхала.

Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя несчастной, чтобы она особенно грустила. Конечно, ей не было весело, но было спокойно, тихо. Она жила эти дни чисто растительной жизнью, по целым часам могла оставаться неподвижной в старом кресле Кондрата Кузьмича, разглядывая каждый кустик, каждый еще не увядший цветок астр в маленькой клумбочке перед беседкой, прислушиваясь к чириканью воробьев, кудахтанью кур, доносившемуся со двора, к дальнему благовесту, следя за движением облаков...

Это было такое затишье, какого она до сих пор никогда не переживала, но затишье перед чем – она об этом не думала или, вернее, боялась думать...

И вот на шестой день пребывания своего в домике Прыгунова сидела она после скромного завтрака, поданного ей Настасьешкой, в беседке, сидела, отогнав от себя подступившую было мысль о том, что надо же наконец очнуться, остановиться на каком-нибудь решении, сделать какие-нибудь необходимые шаги, приняться за дело, для которого она сюда приехала.

Кондрата Кузьмича не было дома, кругом все тихо, даже не слышно кур, даже воробьи не чирикают, – и вдруг шаги, кто-то сходит с балкончика и направляется к беседке.

Груня взглянула, увидела быстро приближавшуюся мужскую фигуру. Она подумала, что это, пожалуй, приехал повидаться с отцом один из сыновей Кондрата Кузьмича, подумала о том, что очень рада, если это Вася, младший, с которым она даже время от времени переписывалась.

Перед нею молодой человек. Она глядит, но это вовсе не Вася и не Саша. Кто же это? Сердце ее почти перестало биться... Она вгляделась – молодой человек, красивый, с большими голубыми глазами. Он весь в черном, с крепом на руке. Он остановился, его бледные щеки вспыхнули.

– Груня... ты... вы... вы меня не узнаете? – проговорил он.

Она его уже узнала, хотя он был совсем не таким, каким почему-то ей представлялся. Но она не могла не узнать его глаз. Эти глаза остались те же, знакомые, милые глаза, с которыми соединялось все лучшее, хотя и грустное, что было в ее безрадостном детстве...

Это он, он, ее единственный друг, маленький волшебник огромного Знаменского парка, ее рыцарь, герой еще почти неосознанных ею грез, сохраненных ею в себе, несмотря на окружавшую ее так долго житейскую грязь, несмотря на все циничные уроки той злой силы, которую вокруг нее называли практической жизнью, действительностью...

И, узнав его, она не вспыхнула, как он, напротив, последняя краска сбежала со щек ее. Она хотела улыбнуться ему – и не могла. Ей, хорошо приучившейся владеть собой и не сму-

щаться, смело появлявшейся на театральных подмостках, на эстраде перед незнакомой, разглядывавшей ее толпою, теперь стало отчего-то жутко.

– Володя! – воскликнула она, и вдруг голос ее оборвался, будто у нее захватило дыхание... – Чтобы я не узнала вас, Владимир Сергеевич! – поправилась она, робко протягивая ему руку.

– Как я рад, – говорил он, – что вас вижу...

Ему хотелось по-прежнему сказать ей «ты», но он сам с каждой новой секундой все больше и больше изумлялся этой чудной перемене, происшедшей с нею, и изумлялся еще более тому, что все же, несмотря на такую перемену, это она, Груня, «та самая» Груня...

– Наконец-то мы встретились! – невольно произнес он. – Если б я не узнал от Кондрата Кузьмича, что вы здесь, что я вас увижу...

– Так не узнали бы! – докончила Груня, наконец найдя в себе силы улыбнуться.

– Еще бы!.. Ведь четырнадцать лет... Мы были дети... А теперь... Я уж и стареть начинаю!..

Ее смущение прошло. Ей стало так весело, тепло, хорошо. Она глядела на Владимира бойко, прямо ему в глаза своими огненными, искрящимися глазами, – и он бессознательно трепетал под этим взглядом.

Затем прошло две-три минуты полного молчания, которого, однако, оба они не заметили. Они вглядывались друг в друга, и кончилось тем, что перемена, в них происшедшая, внезапно как-то исчезла. Сквозь эту новую оболочку мужчины и женщины они уже совсем явственно разглядели свои детские образы, нашли свои детские сердца. Исчезли прожитые четырнадцать лет... Крошечный садик Кондрата Кузьмича превратился в Знаменский парк, и им почти казалось, что они снова идут рядом, в зеленой душистой чаще, что они беседуют, как и в былые дни, только тогда их беседа была о будущем, а теперь хотелось говорить о прошедшем, хотелось скорее, как можно скорее рассказать друг другу все, чтобы не было этого промежутка в их жизни и чтобы скорее можно было продолжать эту жизнь уже не разъединенную, а почти общую, какую она была когда-то.

Прошло не более получаса, а Груня и Володя о многом переговорили. Оказалось, что он знает о Груне гораздо более, чем она предполагала. Оказалось, что и она о нем знает многое. Но их поразило то, что они сами не подозревали такого своего знания.

Груне пришла в голову тревожная, мучительная мысль: а вдруг и он считает ее погибшей? «Певица, актриса... а он хотя и Володя, тот самый Володя, но все же ведь он важный барин... Если даже Прыгуновы почли ее пропащей, так в том обществе, среди которого он живет, как же должны думать и судить, и тем более, что ведь все они почти правы. Но ведь он внук Бориса Сергеевича, а тот смотрел выше, тот понимал, что и в дурной среде можно не загрязниться...»

Однако эта мысль вдруг оборвалась, исчезла. Груня снова не отдавала себе ни в чем отчета, жила настоящей минутой, радостью этой встречи. Она говорила все, что приходило в голову, отрывисто, беспорядочно.

– Но что же это я! – опомнилась она. – Я все говорю о себе, а между тем это неинтересно... и мне так хочется знать что-нибудь о вас от вас самих, Владимир Сергеевич...

– Зачем вы так меня называете, Груня? – не удержавшись, воскликнул он.

– Как – так?

– «Владимир Сергеевич». Я бы хотел остаться для вас прежним Володей.

Она качнула головой.

– Как же иначе, – проговорила она, – конечно, я не смею и не должна называть вас Володей. Да если бы и вздумала... – И она улыбнулась. – Кондрат Кузьмич просто согнал бы меня со света!

– В таком случае и я должен называть вас Аграфеной... вот ведь я даже и не знаю, как вас называют.

– И не нужно, для вас я могу быть Груней. Да и по правде сказать, как бы я вас ни называла, а про себя, внутри себя, я все же говорю: Володя...

Лицо ее вдруг осветилось, а из глаз, прямо ему в сердце, блеснули такие лучи, что у него дух захватило...

## Х. Помеха

В это время у беседки появилась Настасьюшка.

– Барышня... Аграфена Васильевна... вас спрашивают! – сказала она.

– Кто? Кто меня спрашивает? – даже вздрогнув от неожиданности, воскликнула Груня.

– А я почему знаю кто? – ворчливо отозвалась не вовремя оторванная от плиты Настасьюшка. – Господин какой-то... Вам, видно, лучше знать – кто... Вот он билетик мне дал: тут, говорит, сказано...

Она протянула Груне визитную карточку.

Та взглянула и сделала нетерпеливое движение.

– Ах, да скажи ему, что я больна, что я не могу принять его... скажи, пожалуйста...

– Да, много скажешь! Видно, прыток он... вон уж стоит на крылечке и видит, что вы на ногах, да и с кавалером!

На крылечке действительно возвышалась неуклюжая, расфранченная фигура Барбасова.

– Господи, вот нахал! – прошептала Груня.

Владимир взгляделся и с изумлением воскликнул:

– Барбасов!

– А! Кто зовет меня? – радостно отозвался смелый адвокат, спрыгнул с крылечка и в несколько шагов своих длинных ног был перед беседкой.

Он остановился, даже не обратил внимания на присутствие Груни, развел руками, потом как-то откинулся в сторону и, закатившись смехом, произнес:

– Горбатов... дружище!., «вьюнош прекрасный!..» Да нет, быть того не может... не верю глазам своим!

Он схватил руку Владимира, крепко ее стиснул, а затем обратился к Груне, сложил на груди руки крестом и стал в умиленную позу.

– Аграфена Васильевна!..

Но он не мог выдержать.

– Нет... да как же он тут? Ничего не понимаю... объясните!..

Мало-помалу кое-что объяснилось. Барбасов узнал, что Аграфена Васильевна и «прекрасный вьюнош» знакомы друг с другом с детства, что Аграфена Васильевна – воспитанница только что умершего Бориса Сергеевича Горбатова. Большого ему не сказали.

Груня, в свою очередь, узнала, что хотя Барбасов и старше Владимира, но они были товарищами в известном тогда московском пансионе Тиммермана, а затем и в университете.

Барбасов тотчас же заметил не без грусти, а пуще того не без зависти, что он совсем лишний здесь, в этой старенькой беседке, почувствовал, что вот-вот сейчас Аграфена Васильевна его «отделает» и что придется ему удалиться на этот раз в качестве побежденного. Он даже мгновенно упал духом, чего вообще с ним почти никогда не случалось.

Но Барбасов, как он сам выражался, был вот уже шестой год на линии всяких успехов и удач. Удача не покинула его и в эту минуту, она явилась в лице Кондрата Кузьмича, который предстал перед беседкой в длиннополом табачного цвета пальто, мягкой шляпе с широкими полями, с клетчатым платком и табакеркой в руках.

Он любезно, даже не без некоторой почтительности поздоровался с Владимиром, а затем изумленно и подозрительно взглянул на Барбасова и пробурчал:

– С кем имею честь...

Владимир представил Барбасова.

Кондрат Кузьмич церемонно с ним раскланялся.

Барбасов, лицо которого представляло теперь олицетворение любопытства, ответил ему таким же поклоном.

– Так-с! – вдруг протянул Кондрат Кузьмич, кладя шляпу на столик и усаживаясь в кресло. – Так-с!.. А позвольте вас спросить: вы не присяжный поверенный?

– Точно так, я присяжный поверенный, – отвечал Барбасов, смотря на старика точь-в-точь как тот смотрел на него и говоря ему в тон.

Он, очевидно, передразнивал его, но до такой степени серьезно, что к нему никак нельзя было придрататься, и притом это выходило у него очень смешно.

Владимир и Груня невольно переглянулись, удерживая улыбку.

– Так это, значит, вы, милостивый государь, были защитником в Медведевском деле? – уже совсем строгим, почти инквизиторским тоном сказал Прыгунов.

– Да-с, я был защитником в Медведевском деле.

– О вашей защите прокричали даже в газетах, вы себе ею имя сделали, деньги, говорят, огромные, совсем как будто даже и невероятные получили. А ведь дело-то, милостивый государь, скверное! Ведь вы ваше ораторское дарование употребили на защиту величайшего негодя-с, послужив к его оправданию перед судом, выпустив его на свободу, и тем самым дали ему возможность творить и в будущем всякие несправедливости...

– Все, что вы изволили сказать, совершенно верно! – спокойно и серьезно проговорил Барбасов.

Кондрат Кузьмич даже заерзал в кресле, лицо его побагровело.

– Так разве-с это хорошо? – крикнул он.

– Это безразлично, – не спуская с него глаз и с невозмутимым спокойствием сказал Барбасов. – Полагаю, что вам небезызвестны обязанности и назначение присяжных поверенных. Раз я беру на себя защиту, я должен употребить все усилия, все от меня зависящее, чтобы исполнить свою обязанность, то есть защитить моего клиента...

– Будучи даже убежденным в его виновности? – вставил старик.

– Даже в таком случае! Ибо если б я поступил иначе, то перешел бы из роли защитника в роль обвинителя, то есть совершил бы нелепость, даже притом еще и противозаконную, логическим следствием которой оказалось бы для меня исключение из среды присяжных поверенных.

– Господи, – крикнул Прыгунов, – да ведь это полнейшее извращение всех нравственных понятий!..

– Извольте обижать понапрасну, милостивый государь! – протянул Барбасов. – Ничуть не извращение никаких понятий, это может так только с первого раза казаться...

– Защищать и оправдывать заведомого мошенника, да ведь прежде всего эта защита не обязательна, она добровольно была взята на себя вами.

– Мне нечего было бы возразить вам, если бы я брал на себя оправдание; но не следует смешивать защиту с оправданием. Защищать можно кого угодно... Даже вот в этом самом Медведевском деле, если бы я был не присяжным поверенным, а присяжным заседателем, я бы не оправдал моего клиента – вольно же было присяжным его оправдать!..

Кондрат Кузьмич махнул рукою.

– Э, да что об этом! – проговорил он уже не свирепым, а скорее грустным голосом. – И прошу извинить меня, что начал сразу такой разговор... не удержался... Это Медведевское дело мне душу перевернуло. Я-с, вот видите, тоже, так сказать, вашего поля ягода – стряпчий... только старых времен-с... Теперь на нас, стариков, все обрушилось, нет такого ругательства, каким бы в нас не бросали. И правду надо сказать, много противозаконного, темного творилось в наше время, но ей-ей, такое дело, как это – нет, это было бы невозможно!

– Будто уж?! – с величайшим ехидством прошептал Барбасов, да тут же и оборвался, сообразив, что ему не следует раздражать этого строгого старика.

«Ведь это и есть тот самый „аргус“, про которого она говорила!» – вспомнилось ему.

Он вдруг переменял тон и завел с Кондратом Кузьмичом совсем иную беседу и кончил-таки тем, что старик глядел на него уже без строгости и во многом ему поддакивал.

Таким образом, они просидели еще около часу в беседке, а затем молодые люди простились и с Прыгуновым, и с Груней. В крепком рукопожатии, которым обменялись Володя и Груня, они сказали друг другу, что увидятся скоро. Барбасов приглашения вернуться не получил, но он и не ждал его, хотя и знал наверное, что опять сюда вернется.

В переулочке, у домика Кондрата Кузьмича, стояли две коляски, из которых одна так и блестела новизною. Серые в яблоках кони гордо выгибали головы. Кучер, чернобородый татарин, важно и нахально поглядывал с козел. Другая коляска, запряженная парой спокойных вороных лошадей, оказывалась гораздо проще. Кучером был старик, глядевший вовсе не важно и не нахально, а, напротив, как-то даже уныло. На дверцах коляски этой можно было разглядеть потускневшие очертания герба Горбатовых.

– Дружище, – сказал Барбасов, обращаясь к Владимиру, – ты куда теперь?

– Домой, – ответил тот.

– Послушай, ведь мы бог знает сколько времени не встречались с тобою, проедемся вместе, потолкуем, мне, кстати, нужно и быть на Басманной.

Барбасов крикнул своему татарину, чтобы тот ехал домой, уселся с Владимиром в его коляску, и они поехали.

## XI. Веселый Мефистофель

Нельзя сказать, чтобы Владимир был очень доволен возвращаться домой в обществе Барбасова. Ему, конечно, гораздо приятнее было бы ехать одному, чтобы немного очнуться и привести себя в порядок после этого свидания с Груней, оставившей в нем сильное и неожиданное впечатление.

Но если бы Барбасов и не был так решителен и нахален, все же Владимир нашел бы удобным отстранить его от себя. Он против него ничего не имел, и Барбасов даже в некотором роде почти интересовал его, может быть, вследствие того, что они были совсем разные люди. Дружбы между ними, конечно, не существовало никакой, да не было и настоящих товарищеских отношений, так как Барбасов был гораздо старше Владимира.

Но этот человек все же сыграл роль в жизни Владимира. Он в пансионе Тиммермана отравил своим цинизмом его детскую чистоту, он целые полтора года, так сказать, питался на его счет, зато и был всегда его защитником, охранял его в первое время от кулаков товарищей. Он так напугал его одноклассников своим заступничеством, своею известной всему пансиону силой, что многие из самых свирепых мальчишек уже не смели трогать маленького Горбатова.

Затем Барбасов окончил курс в пансионе, поступил в университет, и Владимир потерял его из виду.

Потом они встретились в университете – Владимир был на первом курсе, Барбасов – на четвертом. Но они все же сходились довольно часто. Затем, окончив курс и уже вступив на адвокатское поприще, Барбасов не гнушался студентами и часто принимал участие в их пирушках. На этих пирушках его любили. Его комичная наружность, вечная веселость, грохотание, цинизм – все это было у места, особенно, когда в молодых головах начинало немного мутиться.

К Владимиру Барбасов относился, по-видимому, с особенной симпатией и даже как-то бережно. «Прекрасный вьюнош» – он иначе не называл его – продолжал представляться ему чем-то хрупким и нежным, хотя от маленького Володи, которого он защищал когда-то, почти не осталось теперь и следа.

В последнее время Владимир с Барбасовым совсем не встречались. Жизнь их разделила. Горбатов уехал на службу в Петербург и в Москву приезжал всегда на самый короткий срок.

Несмотря на старые товарищеские отношения с Владимиром, Барбасов не был ни разу в доме у Горбатовых, и Владимир никогда не приглашал его, точно так же, как и многих из своих товарищей. Это сделалось как-то само собою. В университете, во время пирушек, это был тесный товарищеский кружок; но вне университета, вне пирушек являлось различие общественного положения. Каждый оставался в своем кругу.

Друзья ехали некоторое время молча. Барбасов вытянул во всю длину свои ноги, с трудом натянул перчатки на влажные руки, причем оторвал пуговицу и выругался, а затем принялся тихонько посвистывать, самодовольно поглядывая по сторонам и неизвестно чему ухмыляясь.

Владимир глядел задумчиво. Но вот глаза его блеснули, и он обратился к своему спутнику:

– Скажи мне, пожалуйста, где и как ты познакомился с Аграфеной Васильевной?

Барбасов с удовольствием пустился в объяснения: описывая успех Груни, он пришел даже в азарт и так шлепал губами, так брызгал, что Владимир то и дело от него тихонько отстранялся, даже вынул платок и несколько раз вытер себе щеку.

– Это такая прелесть... такая прелесть!.. – кипел Барбасов. – Я просто глазам своим не верил... И, понимаешь ли, она – и в провинции!.. Ее сюда скорей, в Малый театр, Федотова сразу же пропадет от зависти... А музыкантша какая! И ведь это пустяки, что она говорит, что

голос у нее пропал... Горло теперь совсем здорово... Ей в оперу, в итальянскую оперу опять... Ведь она знаменитость... Фиорини... Я узнал только, когда уже ехали мы вместе на пароходе...

– А ты слышал ее пение? – спросил Владимир.

– Нет, она ни за что не поет, да и вообще ведь она такая строгая...

Он усмехнулся.

– К ней не подступишься! – прибавил он, искоса взглянув на Владимира.

– То есть как это – строгая?

– А так... ни боже мой!.. Даже невероятно – такие странности! Да вот и теперь, как это она – и в таком домишке! На попечении у этой поросшей мхом развалины древнерусского судопроизводства... Разве вот ты... что ли...

– Ты, пожалуйста, Барбасов, не говори вздору...

Неужели ты не можешь видеть красивую женщину без циничного к ней отношения?..

– Прежде никак не мог, теперь иногда могу; видно, годы уже не те!.. И к Аграфене Васильевне я отношусь вовсе не цинично. Я, прекрасный мой вьюнош, поклоняюсь ее красоте, ее талантам – и только... Но согласись сам, не могу же я глядеть на нее, как на весталку... Она вон изъездила всю Европу, всю Россию, с кем с кем ни сталкивалась, чего-чего ни привелось ей видеть. Да и не ребенок, ведь... ведь ей сколько? Чай, уж не со вчерашнего дня за двадцать?..

– Двадцать шесть лет, – задумчиво проговорил Владимир.

– Вот видишь! Так надо полагать, что были всякие бури. Без этого, друг мой, нельзя, без этого не прожить женщине, а тем паче артистке...

Владимир даже покраснел, но ничего не ответил. Ему стало так противно. И вдруг Груня, эта самая Груня, которую он сейчас почти видел прежней невинной девочкой-ребенком, явилась перед ним уже совсем иною. Эта мысль о годах ее тревожной артистической жизни только сейчас представилась ему в новой окраске... Сам он давно уж не был наивным юношей и не мог не видеть в словах Барбасова значительной доли правдоподобия.

А тот между тем вдруг громко вздохнул и присвистнул:

– Плохо мое дело! – сказал он.

– Что такое?

– А все насчет той же Аграфены Васильевны. Ведь я тебя ненавидеть должен – пойми ты!.. Но только нет – зачем же? Каждому свое... А, право, счастливцев ты, Владимир Сергеевич! Такая женщина, да ведь это что ж такое? Ведь это благодать!.. Самый что ни на есть счастливцев! Много ли таких встретишь в жизни?

Владимир рассердился не на шутку.

– Послушай, Барбасов, всему есть предел; мы, кажется, давно не школьники, и такое школьничество не у места. Я знал ее ребенком, теперь увидел ее в первый раз, у нас общие воспоминания детства. Я здесь в Москве временно, наша встреча случайная, и уж, конечно, ухаживать за нею я не имею намерения, а потому, пожалуйста, прекратим разговор этот...

Барбасов вдруг сделался серьезным и проговорил:

– Только позволь мне сказать одно: что ваша встреча случайная – это верно, что у тебя нет относительно ее никаких мыслей – это тоже вероятно, и прости меня, если в моих словах что-нибудь тебе не понравилось, но чтобы, раз встретишься, вы так и разошлись – извини, этого не может быть! Не такая она женщина, и не то говорили глаза ее сегодня... Молчу!.. Молчу!.. – прибавил он, видя, что сильно раздражает Владимира.

Он переменял разговор, стал передавать всякие московские сплетни, расспрашивая Владимира об его петербургской службе. Владимир отвечал не особенно охотно, но все же отвечал.

– Так, так, – говорил Барбасов, – вижу я, вижу, что тебя плохо там вымуштровали!.. Не сумел ты в настоящую колею попасть, в бюрократическую... дилетантством отзывается... А ведь это, сударь, нехорошо, с этим ты далеко не уйдешь... Эх, вот бы меня на твое место!

Зашагал бы я быстро, где ползком, где шажком, а где вприскок... Но каждому свое: я своим делом, нельзя сказать, чтобы очень был недоволен...

Он распространился о своих успехах, о том, какие неслыханные деньги получал за последние годы. Владимир слушал его рассеянно.

Таким образом они доехали до Басманной, а затем до самого Горбатовского дома. Владимир вопросительно взглянул на Барбасова. Тот встрепенулся.

– Ах, это ваш дом! – сказал он. – Не позволишь ли мне захватить... у меня еще целый час свободный... Я, видишь ли, уже давно имею удовольствие быть представленным твоим сестрам и твоей почтенной тетушке... Как же, как же! Не одну кадрили протанцевал и с Софьей Сергеевной, и с Марьей Сергеевной. До сих пор ведь я танцую... или, вернее, вновь начал... как нас там учили у Тиммермана – уже позабыл, так, веришь ли, в прошлом году брал уроки мазурки, целых двадцать уроков... ни одного бала и раута у генерал-губернатора не пропускаю... вообще, снова к юности вернулся... Что делать... иногда это бесполезно... даже очень... и в нашей профессии...

Коляска остановилась у широкого подъезда. Барбасов хотел было соскочить по всем правилам недавно изученной им мазурки, но споткнулся и даже зашиб себе ногу о каменную ступень. Однако он этим не смутился и, приняв важный и степенный вид, последовал за Владимиром.

– Так что же, любезный друг, – сказал он, – *puis-je me présenter sous tes auspices?*<sup>9</sup>

«Вот нахал!» – невольно подумал Владимир и спросил у швейцара: принимают ли Клавдия Николаевна и барышни. Барбасов с видимым удовольствием услышал утвердительный ответ и стал осматриваться.

– Д-да! Домик! – протянул он.

Они поднялись по лестнице, прошли несколько огромных комнат, дышавших той роскошью старины, которую не купишь ни за какие деньги, и очутились в небольшой гостиной, где у окна, в кресле, вся в черном, съежившаяся, прозрачная и унылая, сидела с книгой в руке Клавдия Николаевна.

Барбасов подобрался, потом вытянулся и вдруг сообразил, что его чересчур яркий костюм совсем не у места в этом траурном доме и непригоден для первого визита. Он готов даже был ретироваться, но оказалось поздно: Клавдия Николаевна оторвалась от книги, подняла свои темные глаза.

– *C'est toi, mon ami!* – произнесла она. – *D'ou viens-tu?*<sup>10</sup> – и, вдруг заметив фигуру Барбасова, с недоумением и изумлением на него прищурилась.

– Это мой старый товарищ, Барбасов, – сказал Владимир, – вы ведь уж с ним знакомы...

Но она решительно никакого Барбасова не помнила.

Она склонила голову в ответ на почтительный поклон гостя, слабым движением руки указала ему на стул и скорее вздохнула, чем проговорила:

– Очень рада вас видеть...

---

<sup>9</sup> Мне считать, что я под твоим покровительством? (*фр.*)

<sup>10</sup> Это ты, друг мой! Откуда приехал? (*фр.*)

## ХII. Зачем он здесь?

На пороге появилась стройная и грациозная фигура Софьи Сергеевны.

Да, теперь уж это была не Соня, не даже Софи, а Софья Сергеевна. Каждый, взглянув на нее, непременно должен был признать ее красивой, хотя сухая холодная красота ее миниатюрного и тонкого лица много потеряла вместе со свежестью и оживлением первой юности. Эти, по-видимому, спокойные, мирные годы прошли далеко не бесследно.

Софье Сергеевне было теперь двадцать шесть лет. В иные дни, особенно при вечернем освещении, она казалась моложе. Среди оживления бала или в гостиной, со своим тоненьким голоском, с капризными иногда, но, во всяком случае, до тонкости изученными движениями и манерами, она продолжала производить впечатление воздушной ingénue<sup>11</sup>.

Но дома, на свободе, без прикрас и эффектов обдуманного туалета, в строгом траурном платье, она теперь появилась такою, какою была на самом деле, то есть слишком даже рано поблекшей девушкой. Ее несколько лет тому назад ослепительный цвет лица принял теперь желтоватый оттенок, щеки были бледны, на лбу и вокруг глаз уже образовались тоненькие нити морщинок, делавшиеся совсем заметными, когда она оживленно говорила или смеялась. Поэтому она, изучившая свое лицо до мельчайших подробностей и давно уже приходящая в ужас от этих морщинок, всеми силами старалась не смеяться и не оживляться, одним словом, ни при каких обстоятельствах не забывать о своем лице. Она уже робко и осторожно, под величайшим секретом от всех, стала даже прибегать к некоторым косметикам, к каким-то средствам вроде *lait de beauté*<sup>12</sup>, от которых тщетно ждала помощи.

Уходящая, и так бессовестно рано, так предательски быстро, молодость – это было теперь несчастье ее жизни. Несчастье для нее настоящее, доставлявшее ей много никому не ведомых страданий. Да, она считала себя глубоко несчастной, жестоко обиженной судьбою и людьми, не умевшими понять и оценить ее. Она искренне чувствовала, что общество страшно виновато перед нею, что она загубила себя в низменной среде.

Прежде всего, конечно, виноваты были родные, начиная с отца, которого, – она даже и не скрывала это, – она и презирала, и почти ненавидела. Виноват был и покойный дедушка, и Клавдия Николаевна, и все, все без исключения. Между тем, если бы спросить ее, в чем именно заключалась их вина, она, конечно, не могла бы ответить.

По семейным обстоятельствам она большее время своей жизни прожила в Москве, но каждое лето уезжала за границу. Две зимы она провеселилась в Петербурге, где для нее строгая отшельница, Марья Александровна Горбатова, даже изменила своим привычкам и сделала все, чтобы доставить удовольствие племяннице. Она отдалась в ее распоряжение и вывозила ее всюду.

У Софьи Сергеевны была одна заветная мечта – и мечта эта осуществилась – ее пожаловали фрейлиной к государыне. Она появлялась на всех придворных балах и собраниях. Но опять-таки это ни к чему не привело. На третью зиму она уже не поехала в Петербург, чувствуя себя почему-то и там оскорбленной всеми. И она почла бы клеветником того человека, который сказал бы ей, что сама она виновата в своей неудаче. Она держала себя так гордо и в то же время при всяком удобном и неудобном даже случае так злословила, так чванилась, что все те, кто сначала заинтересовался было ею, скоро от нее совсем отстали.

У нее явились определенные честолюбивые планы – она наметила единственного человека, которого почла достойным и себе равным. Приняв за основание несколько любезных фраз, ей сказанных, она создала себе самые несбыточные надежды. Она сделала хуже – дала

---

<sup>11</sup> Наивной девушки (*фр.*).

<sup>12</sup> Косметического молочка (*фр.*).

кое-что заметить и понять этому человеку. Он с изумлением отошел и даже стал, видимо, избегать ее.

Она была уверена, что никто ничего не знает, а между тем у нее уже были враги, то есть люди, возмущенные ее чванством и злым языком. Эти враги пустили сплетню и в свою очередь жестоко посмеялись над нею. Поэтому-то она и не вернулась в Петербург на третью зиму.

Конечно, она не любила этого, так неудачно намеченного ею человека; конечно, он ровно ни в чем – ни словом, ни помышлением не был виноват перед нею, но она вообразила, что он дурно с нею поступил, вообразила, что сердце ее разбито, и с этого времени в ней стало развиваться окончательно недовольство жизнью. Характер ее, никогда не бывший приятным, с каждым днем делался теперь невыносимее. Она придиралась ко всему и ко всем, ее ничем нельзя было удовлетворить, и бедная Клавдия Николаевна испивала иногда горькую чашу.

Наконец Софья Сергеевна, убедясь, что прошлого не вернешь, что продолжать думать о том единственном равном ей человеке нечего, решила, что ведь не может же она остаться так, что уж если судьба не дала ей возможности как следует устроиться, то все же должна она выйти замуж. Она готова была теперь принять обыденную долю; если бы теперь тот первый, единственный, ее жених или кто-нибудь в этом роде ей представился, она вышла бы замуж без всяких рассуждений. Она даже вдруг стала снисходить, обращала свое благосклонное внимание то на одного, то на другого.

Но все ее старания пропадали даром: никто не делал ей предложения и, мало того, с ужасом она замечала, что к ней относятся уже не так, как относились прежде, как вообще относятся к молодым девушкам, – к ней относились с большим почтением, и это почтение доводило ее до отчаянья.

А время шло, и проклятые морщинки, несмотря ни на какие «*lait de beauté*», обрисовывались заметнее и заметнее. У нее задавались теперь целые дни, целые недели глубокой тоски, тем более невыносимой, что не с кем было ею поделиться. Софья Сергеевна скорее бы умерла, чем призналась кому-либо в своих муках...

Теперь она вышла в гостиную бледная и скучающая, с изумлением взглянула на Барбасова, ответила на его почтительный поклон пренебрежительным кивком головы, остановилась было, но затем прошла через гостиную и скрылась.

Владимир вышел за нею и остановил ее:

– Соня, ты куда? – сказал он. – Посиди немного в гостиной, помоги тете, а то у нее сегодня такой вид, что глядеть страшно.

– Это еще что за явление? – вместо ответа проговорила Софья Сергеевна.

– Барбасов? Да ведь ты его знаешь.

– Кажется, знаю, как приходится знать бог знает кого... Но зачем он у нас, этот пестрый и неприличный урод?

– Он мой старый товарищ.

– Мало ли какие у тебя могут быть старые товарищи, но ведь есть же всему предел, и я вовсе не желаю, чтобы наша гостиная превратилась в трактир...

– Однако... раз уж он здесь... ведь ты хозяйка...

– Нет, уволь, уволь меня – некогда!

И она пошла дальше.

Владимир вернулся в гостиную и с удовольствием увидел, что вторая сестра его, Марья Сергеевна, сидит почти рядом с Барбасовым и спокойно с ним беседует.

Теперь более чем когда-либо бросалась в глаза разница между двумя сестрами. Марья Сергеевне шел двадцать четвертый год. Но она, в семнадцать лет казавшаяся старше своего возраста, очень мало с тех пор изменилась, только развилась окончательно, окрепла, совершенно избавилась от своей юной неуверенности, одним словом, очень много выиграла. Ее высокая полная фигура выражала силу и бодрость, румяное лицо дышало здоровьем, ни о

каких морщинках не было и помину. Она еще не задумывалась о том, что время уходит. И если бы спросить ее, что думает она о замужестве, она бы прямо ответила, что давно уже находит, что пора ей замуж и что, вероятно, в конце концов и выйдет.

В ее жизни, в первое время ее выездов, был у нее какой-то период колебаний, неясных и неразрешенных вопросов, но этот период давно прошел. Она была довольна жизнью, считала себя почти счастливой. Теперь она никому не казалась загадкой, все ее странности исчезли. Ее организм как бы выдержал какую-то борьбу, быть может, с зародышем какой-нибудь серьезной болезни. Он, может быть, победоносно выбросил из себя находившуюся в нем частицу того самого яда, который превратил ее младшего брата в «дурачка Кокушку».

Каждое новое лето, проведенное ею в путешествиях, на водах, укрепляло ее больше и больше. С каждым новым годом она чувствовала себя бодрее и здоровее, и это здоровье, конечно, отражалось на всем ее мирозерцании. Она никогда не питала в себе неисполнимых планов, не мечтала о невозможном, довольствовалась окружающим. Она очень любила Москву, любила с детства установившийся строй их жизни, любила повеселиться и, если изредка на нее находило нечто подобное прежней апатии, то, в сущности, это было не что иное, как потребность необходимой и полезной перемены, и перемену эту она находила дома, у себя, в физическом отдыхе, в чтении.

С каждым годом она все чаще и чаще начинала жить умственным интересом, следила за общественным движением, всматривалась в то, что делается вне ее обычного круга. Только у нее не было руководителя, она шла одна, ощупью, и немудрено, что иногда сбивалась с дороги...

Войдя теперь в гостиную и заметя Барбасова, она не обратила внимания на его пестрый костюм; напротив, даже очень просто и искренно сказала ему, что рада его видеть, и тотчас же заговорила с ним о последнем выигранном им процессе, который интересовал ее.

Барбасов был на седьмом небе. Он уже стал было чувствовать себя, несмотря на весь свой апломб, не в своей тарелке. Он решительно не знал, как приступить к такому хрупкому, едва-едва держащемуся созданию, как Клавдия Николаевна. Строгое промелькнувшее виденье Софьи Сергеевны окончательно подрезало ему крылья. А тут вдруг очутилась эта любезная и красивая девушка, ласково на него взглянула, начала говорить с ним о предмете ему близком, и он мгновенно расцвел, глазки его под очками блестели, лицо сияло.

Он заговорил с жаром, с увлечением, хотя все же старался поменьше жестикулировать и поменьше плевать. Войдя в азарт, он всегда говорил хорошо, даже остроумно. Марья Сергеевна несколько раз весело и одобрительно улыбнулась, и кончилось тем, что некрасивое, комичное лицо ее собеседника перестало смущать ее, показалось ей оригинальным и симпатичным.

В соседней комнате послышались громкие шаги, и в гостиную, запыхавшись, весь красный, вбежал Кокушка. Бесцветные глаза его были вытаращены. Он находился в сильном возбуждении, никого не замечая, подбежал к Клавдии Николаевне и пронзительным голосом, захлебываясь, заикаясь и шепелявя, стал кричать:

– Тетя, да... да что же это такое? Я не могу этого больше терпеть... Я ее не трогаю, я к ней даже никогда не вхожу, я... за... чем же она рашпоряжается в моей комнате? Меня не было... Она пришла, штащила мои крашки... ишкал... ишкал – нигде не мог найти... Ка... как она смеет брать мои вещи!.. Где мои кратки?..

Клавдия Николаевна с отчаянием зажала себе уши.

– Господи! Николай, да успокойся, что такое? Ведь я ничего понять не могу! Кто такой? Какие краски? Кто у тебя?

– Кто? Известно кто... все Софьюшка... фрейлина наша... принцеша...

Клавдия Николаевна безнадежно закрыла глаза.

Между тем Кокушка обернулся и увидел Барбасова. Мгновенно все раздражение, весь его гнев пропали; он спокойно подошел к гостю, протянул ему руку и с улыбкой проговорил:

– А здравствуй, адвокат, здравствуй... Как поживаешь... кого обираешь?

Кокушка со всеми мужчинами, с которыми встречался несколько раз, был на «ты». Барбасова он знал уже давно, а с тех пор как имя его стало часто повторяться в газетах, он называл его своим приятелем. Он чувствовал склонность ко всем знаменитостям.

– Кого же я обираю? – улыбаясь, сказал Барбасов.

– На... на то ты и адвокат, чтобы обирать! Вон у Гриневых-то... говорили, что такого мошенника, как ты, еще никогда не было.

Барбасов, несмотря на все свое самообладание, невольно смутился. Марья Сергеевна решительно не знала, куда ей деваться.

Но вдруг Кокушка сразу оборвался, глаза его снова вытаращились, лицо покраснело, и он кинулся к двери, заметив входившую Софью Сергеевну.

– Куда ты девала мои крашки? – закричал он.

– Что такое? Объясни, пожалуйста, Софи, какие крашки? – выговорила через силу Клавдия Николаевна.

Софья Сергеевна с презрением взглянула на брата и, обратясь к старушке, сказала:

– Я случайно зашла к нему – и что ж бы вы думали? Он взял из большой гостиной самый лучший кипсек<sup>13</sup> и вздумал его раскрашивать! Уже девять прелестных гравюр совсем испортил... Я и унесла его крашки... Ведь это невозможно!.. *Il finira par gâter tout!*<sup>14</sup>

– Где мои крашки? – взвизгнул Кокушка. – Как испортил?! Я отлично... от... от... лично раскрашивал!.. Покажи – все скажут... А ра-а-ашкрашивать картинки ты мне не можешь запретить! И отнимать крашки не смеешь!.. Я... я... ведь не запрещаю тебе раскрашивать лицо... фре-е-ейлина!..

Софья Сергеевна позеленела, хотела сказать что-то и – не могла. Наконец она собралась с силами, сообразила, что единственное спасенье – заставить Кокушку уйти.

– Твои крашки в диванной, в столе, – дрожащим от злобы голосом сказала она.

Кокушка мгновенно выскочил из гостиной. Барбасов понял, что лучше всего теперь удалиться, и стал раскланиваться.

---

<sup>13</sup> Альбом с гравюрами или книга с большим количеством качественных иллюстраций.

<sup>14</sup> Он в итоге все испортит! (*фр.*)

### ХIII. Адвокат

Барбасов медленно прошел огромным двором, вышел в ворота, а затем остановился и несколько мгновений пристально глядел на неподвижных, строгих львов, уже более столетия стороживших вход в старинное барское жилище. По его лицу скользило что-то неуловимое, что-то очень серьезное, совсем не шедшее к постоянному характеру этой самоуверенной и комичной физиономии.

Перед ним мелькнуло и исчезло далекое-далекое воспоминание. Да, это были эти самые львы! Они когда-то поражали его, маленького ребенка, привезенного в Москву старушкой-барыней, которая после смерти его отца, бедного сельского дьякона, взяла его на воспитание и решила вывести в люди.

«Тогда – и теперь!» – подумал он еще раз, пристально взглянув на львов, и все лицо его засветилось самодовольством. Он тряхнул головой, осмотрелся и пошел по Басманной.

Свободный час, о котором он говорил Владимиру, давно уже прошел, но дело в том, что он все выдумал. Никто его не ждал на Басманной, никуда ему не нужно было спешить. Он взглянул на часы, кликнул проезжего извозчика и отправился в московский Туринский трактир обедать. Он любил хорошо поесть, и до сих пор желудок его, хотя все же не без помощи некоторых вспомогательных средств, позволял ему это.

Войдя в огромную залу, заставленную, как стойлами, рядами диванчиков, придвинутых спинками друг к другу, он начал оглядываться, ища свободного места. Народу уже было много. Мигом подлетел к нему красавец-половой с удивительно черной бородой, в белоснежной русской рубашке, с салфеткой на плече и, приятно осклабясь, проговорил скороговоркой:

– Алексей Иванович, сюда-с, сюда-с пожалуйте, вот свободно местечко... я и прислуживать вам буду...

Барбасов протиснулся кое-как между диваном и столиком и не успел еще снять перчатки, как половой уже ставил перед ним графинчики с разными водками и закуску.

– Что прикажете-с к обеду?.. У нас нынче рыбка... такая! Утром только получили с Волги, живехонькая!.. Может, уху стерляжью или так стерлядочку а-ля рюс желательно?..

Барбасов подумал немного и стал заказывать себе основательный обед. Половой слушал его с усиленным вниманием и большим почтением, склонив голову, сморщив брови и даже полузакрыв глаза.

– Вот и все! – наконец сказал Барбасов.

Половой встряхнул черными, уже редющими и в изобилии напояженными волосами.

– Слушаю-с, будьте покойны, все в самом лучшем виде... Повару ваш вкус известен довольно.

И он исчез.

Барбасов принялся за водку и закуску; но едва он успел налить себе рюмочку прозрачной, как слеза, очищенной, к нему подошел с протянутой рукой черноватый и франтоватый господин.

– Алексею Ивановичу низжайшее почтение! – не без умиления произнес он, показывая белые зубы и щуря масляные глазки.

– Здравствуйте, Шельман! – отозвался Барбасов несколько покровительственным тоном.

– Что это вас давно не видать, Алексей Иванович?.. В суде то и дело о вас спрашивают...

– А что же мне там торчать по-пустому?

– Да, оно, конечно, – вздохнул Шельман, – после такого дельца, какое вы завершить изволили, можно и поотдохнуть... А вот мы, бедные, с раннего утра мечемся...

– Ну, уж и бедные! – усмехнулся Барбасов. – И уж особенно вы-то!

– Эх, да что я! Много дел, много, да не дела, а делишки. За последние полгода самое выгодное дело было в десять тысяч. Да что об этом... А вот вы, извольте полюбопытствовать...

Он наклонился к самому уху Барбасова и стал шептать ему:

– Видите, направо... это я, вам скажу, птичка... в черной шляпе с альми розами... Она здесь со мною... обедаем... И вы думаете, кто это? Представьте – клиентка! Эмансипированная особа и со средствами.

– Значит, вы в двойной роли – ну и прекрасно... спешите же к ней, а то я, чего доброго, отобью ее у вас.

– Закреплено формальнейшим образом! – самодовольно ответил Шельман, но тотчас же отошел от Барбасова и вернулся к своей даме.

Барбасов выпил рюмку, закусил, а тут опять:

– Здравствуйте, Алексей Иванович!

К нему то и дело подходили разные господа всякого возраста и вида. Но на этот раз он был не словоохотлив и даже, по-видимому, тяготился такой своей популярностью в этом храме московского кулинарного искусства.

Наконец его оставили в покое, и он с удовольствием принялся за обед под шум толпы, под звуки не смолкавшего оркестриона.

Окончив обед, он почувствовал, что слишком много съел и, главное, слишком много выпил, а потому поспешил на свежий воздух.

На подъезде к нему со всех сторон кинулись извозчики, он махнул рукою, вскочил в первую попавшуюся пролетку и крикнул:

– На Сивцев Вражек!

– Знаем-с, сударь! – ответил франтоватый извозчик-лихач, дернул вожжами, и застоявшаяся молодая лошадка помчала Барбасова по изрытой мостовой мимо Александровского сада.

Барбасов, весь лоснившийся, с покрасневшим носом и несколько осоловевшими глазами, мутно глядевшими из-за золотых очков, усиленно полоскал себе рот дымом сигары, отдувался время от времени и приятно ухмылялся чему-то. В голове у него немного шумело. С детства знакомые улицы с рядами то больших, то маленьких домов как-то сливались и будто бежали назад.

Наконец пролетка остановилась у небольшого хорошенького дома-особняка. Барбасов совсем очнулся, вылез из экипажа, дернул звонок, потом вынул из портфеля пятирублевую бумажку и дал ее извозчику. Тот снял шапку, крикнул:

– Здорово оставаться, сударь! – и отъехал.

Благообразный лакей в белом жилете и галстук отпер двери. Барбасов сбросил в светлой передней пальто, прошел довольно обширную залу, уставленную новой, с иголки, мебелью, обитой атласом цвета bouillons d'or, прошел малиновую бархатную гостиную и отворил дверь в свой кабинет.

На большом письменном столе, тоже совсем новом, но уже треснувшем сбоку, он увидел несколько ожидавших его писем. Он распечатал одно из них, пробежал его, до остальных не коснулся и направился в противоположную сторону комнаты, к низенькому турецкому дивану.

Вдруг он остановился и пробурчал:

– Черт знает что!

На диване в грациозной позе лежала и, очевидно, мирно спала молоденькая, хорошенькая и очень нарядная женщина. Он подошел к ней ближе и глядел на нее. Темно-синее платье из легкой шелковой материи красиво обрисовывало ее стройные формы. Немного бледное, немного уставшее, но правильно очерченное лицо эффектно рисовалось на темном фоне подушек дивана.

Он наклонился, прислушался – она действительно спала. Тогда он вернулся к письменному столу, свернул из только что прочитанного письма тоненькую трубочку, подошел тихонько к молодой женщине и стал щекотать ей трубочкой ноздри. Она вздрогнула, открыла совсем еще бессмысленные большие черные глаза, вскочила с дивана и громко зевнула.

– Ах, это ты, Леня! – сказала она, наконец очнувшись. – Бессовестный! Я ждала, ждала – и вот заснула... Который же час? Ведь уже семь... я с голоду умираю... Скорей, скорей, едем куда-нибудь обедать!

– Фью! – присвистнул он. – Обедать?! Я, мать моя, уж отлично пообедал и теперь мне и говорить-то об еде тошно.

Она встревожилась и вспыхнула.

– Обедал?! А я-то как же? Что же это такое?.. Ведь это называется свинство!.. Ведь ты же сам назначил мне в пять часов быть у тебя и весь день мы должны были провести вместе...

– Забыл, совсем забыл, – сказал он, – из головы вон... Ну, прости...

Но она была оскорблена не на шутку.

– А, так вы уж забывать начинаете!.. Вы уж меня голодом морить начинаете! Прощайте!!!

– Остановись и не кипятись! – флегматически сказал он. – У меня от всяких дел голова идет кругом и, главное, ведь я же попросил прощения...

– Да, ведь я голодна, наконец, поймите!..

– Бери мою коляску и отправляйся обедать куда угодно, а затем возвращайся...

– Как? Одна?!

– На сей раз одна, ибо, говорю тебе, мне об еде противно и думать... Ты будешь передо мною есть, а я этого не вынесу.

Он раскрыл свой портфель.

– Вот тебе сто рублей. Довольно? Отправляйся и возвращайся после обеда...

Она приняла сторублевую бумажку, аккуратно сложила ее и спрятала в карман.

– Ну, хорошо, на этот раз прощаю! – проговорила она в то время, как он звонил, чтобы приказать подать экипаж. – Только после обеда я вернусь к себе и чтобы я вас застала уже там! Мы отправимся в Петровский парк, я хочу нынче цыган слушать. Слышите?

– Хорошо, хорошо!.. – рассеянно проговорил Барбасов.

Экипаж оказался уже заложенным, и через минуту молодая женщина надевала шляпку.

– Ну-с, прощайте! Да ты не разоспись, смотри, через полтора часа будь у меня непременно... а я только-только пообедаю... Что ж ты думаешь, одной весело, что ли, обедать? Эх, добра я слишком, не стоишь ты.

– Не стою! – согласился он.

Она подошла к нему и подставила ему щеку. Он, очевидно, нехотя ее чмокнул, а затем, оставшись один в кабинете, упал на диван и принялся зевать. Но спать ему все же не хотелось, небольшой хмель совсем прошел. Он велел подать себе сельтерской воды и, прихлебывая ее, лежал, предаваясь своим мыслям...

## XIV. Задача

«Эту Ньюютку, во всяком случае, и как можно скорее надо сплавить, – думал Барбасов. – Ведь всю прошлую весну, всю половину лета провозился с нею... И денег много на нее идет, да и надоела – глупа непроходимо и раз в неделю с неудачными претензиями на порядочность... Глупо, что сразу не отделался по возвращении из Астрахани. Ну, да это не трудно...»

Он вздохнул. Сплавить Ньюютку он решил, уже возвращаясь в Москву. Но тогда у него были иные планы. Он рассчитывал, что ее место недолго останется вакантным, он рассчитывал тем или иным способом победить холодность Аграфены Васильевны и во что бы то ни стало «подружиться» с нею. Аграфена Васильевна ему нравилась так, как давно никто не нравился, и он чувствовал, как с каждым днем этот «каприз сердца» овладевает им сильнее и сильнее. Выследив ее в жилище Прыгунова, он отправился к ней с твердым намерением бороться и победить. Теперь он ясно понял, что должен отступить.

В разговоре с Владимиром он был совсем искренен. Он почувствовал, что там не его место, а место этого «прекрасного вьюноши», и благоразумно сразу решил внутри себя, что «против рожна не попрешь».

Он всегда умел себя сдерживать, умел владеть собою, а главное, успокоить себя. Это умение он считал своим высшим качеством и развивал его в себе тщательно, решив, что только таким образом достигнет всего, чего может достигнуть, а притом и проживет спокойно. Но все же вряд ли бы ему удалось так легко отказаться от мечтаний об Аграфене Васильевне, если бы на помощь не пришло совсем неожиданное обстоятельство.

«Судьба, это судьба! – почти громко выговорил он. – Дурацкое слово, но иной раз, как ни верти, а оно оказывается самым подходящим... Или вдохновение, что ли...»

Он без определенной цели навязался на посещение Горбатовых. А вот теперь это посещение подвело его к совсем новым мыслям. Перед ним то и дело мелькало доброе, сияющее здоровьем и свежестью, красивое лицо Марьи Сергеевны.

«Над этим стоит поработать, – мысленно повторял он. – Я, Алексей Барбасов, я – с моей кожей и рожей, как выражался Никита Крылов, читая нам в университете римское право, я – и она! Она, это знатная, богатая девица, одним словом – Горбатова, excusez du peu<sup>15</sup>, и я! – сын деревенского дьякона, отца Иоанна, помогавший батьке вспахивать нашу десятину; я – приемный покойницы генеральши-благотельницы!.. Несообразно, нелепо, но не невозможно! Да, не невозможно... но трудно, трудно... и хорошо... а потому надо поработать... Чем же это невозможнее хотя бы медведевского дела? А ведь я его выиграл. Шагать так шагать. Дурак я или умница? Да... этого я не оставляю, этого я не оставляю!..»

Барбасову, как и всякому человеку, быстро забирающемуся все выше и выше, выходящему из общего уровня, начинали завидовать очень многие. Но чему завидовали? Завидовали его успехам, удаче, огромным деньгам, им получаемым, завидовали его роскошной, хотя и совсем мещанской, обстановке, которая, однако, казалась завистникам верхом элегантности и шика, завидовали его новым экипажам и лошадям, его успехам среди разных нююток...

А между тем у него было нечто такое, что даже никто не замечал, но чему можно было позавидовать. Эта принадлежность Барбасова было – счастье, внутреннее счастье, довольство своей жизнью. Довольство и счастье лежали главным образом даже не в его удачах, а в нем самом, в его характере. Да, его можно было назвать счастливым человеком, и сам он считал себя таким.

Когда кто-нибудь случайно спрашивал об его детстве, о родителях, он обыкновенно отвечал, что мать умерла в младенчестве, а отца совсем не было, делал грустно-комичную мину и

<sup>15</sup> Ни больше ни меньше (фр.).

переменял разговор. Матери своей он действительно не помнил: она умерла, когда ему было года два. Он остался единственным ребенком, единственным из двенадцати, один за другим умерших, последним, на руках у бедного, забитого деревенского дьякона, человека доброго и благочестивого, но сильно запивавшего и окончившего дни свои, когда мальчику было всего девять лет. Из нищеты, из чисто крестьянского быта маленький замарашка попал в барские хоромы. Добрая барыня пригрела и обласкала его, обучила грамоте, затем свезла в Москву, отдала в дорогой пансион, поместила его в своем духовном завещании в пятнадцать тысяч рублей и решила так:

«Из мальчика прок будет: шустрый, бойкий мальчишка, на все понятливый. Может, и простит мне Бог грехи мои за это доброе дело...»

Мальчик оправдал ожидания благодетельницы. Учился он хорошо, в пансионе жилось ему в полное удовольствие. То, что поражало, терзало и мучило других детей, иначе воспитанных дома, – того он даже не замечал. Год жизни в барских хоромах не изгладил из его памяти прежних впечатлений и привычек нисколько; пансионская пища, в сущности, очень плохая, не была ему противна. Он ел все и с аппетитом. Благодетельница, приезжавшая в Москву раз в год, с каждым новым приездом оказывалась более и более довольной своим воспитанником. Только глядя на его неуклюжую фигуру и уж очень некрасивое, особенно в отроческом возрасте, лицо да торчащие волосы, она про себя приговаривала: «Дурнышка, совсем дурнышка! Ну, да что ж, не девица и не всем же быть красивыми... Дурнота для мужчины не несчастье...»

Пансион принес Ленюшке, как называла его благодетельница, несомненную пользу. Он, сам того не замечая, мало-помалу совсем позабыл свою прежнюю сферу, из которой был навсегда вырван. Он не сделался изящным, ибо это было совсем противно его натуре, но все же приучился, когда нужно, казаться благовоспитанным. Он говорил по-французски и по-немецки не хуже других. Товарищи его вообще любили, и, по мере того как он вырос, он превращался в так называемого славного малого, а главное, в нем развилась уверенность в себе, апломб.

Он всегда чувствовал под собою твердую почву и шел прямо и решительно. Чувствительности и нежности в нем никакой не замечалось. Он никогда не выдавал товарищей и всегда готов был постоять за них, однако при этом старался не повредить себе. Горлан и краснобай, он многих увлекал за собою, был во главе всяких шалостей, очень часто совсем непозволительных, но, обладая, так сказать, организаторским талантом, почти всегда так устраивал, что все оставалось шито и крыто.

Развращен он был ужасно, хотя, конечно, эта развращенность сидела главным образом пока еще только в воображении. Цинизм его доходил до отвратительности. Он кончил наконец тем, что иначе не мог говорить как непристойными словами, сопровождаемыми бранью. Не раз он попадался и претерпел все пансионские наказания. Но это нисколько не исправило – напротив, он дошел до виртуозности в выдумывании всяких невероятных нелепых словесных гадостей и кончилось тем, что его язык и лексикон вошли в моду в пансионе. Таким образом, модный московский пансион сделался истинным рассадником сквернословия.

Окончив пансионский курс и поступив в университет, Барбасов стал несколько придерживаться язык свой и вообще мало-помалу выравнивался. Студенческие годы были для него сплошным весельем. Здоровье и постоянно хорошее настроение духа давали ему возможность после пирушки и целого дня непробудного пьянства сразу очнуться, облиться холодной водой и приняться за работу. Он был на хорошем счету у профессоров, и даже один из них предложил ему остаться при университете. Но он отказался. Он спешил скорее к практической деятельности, к наживанию денег.

И вот теперь, к тридцати годам, он достиг всего, и ему еще лучше живется, чем когда-либо, у него все есть и все ему доступно. Он захотел бывать в обществе и кончил тем, что его действительно можно было видеть в лучших гостиных. Присутствие его в них могло смущать Софью Сергеевну; но таких, как она, было немного – в обществе уже приучились таить про

себя свои истинные взгляды и понятия из боязни прослыть за остальных, за ретроградов. Слово «либерализм», хоть часто и с совсем неожиданным значением, ему придаваемым, было у всех на языке.

Конечно, Барбасов все же прошел через некоторые мытарства; другой бы человек на его месте смутился и отказался. Но он был не из смущающихся, он не обращал внимания на мелочи. Обидеть его было трудно. У него было, конечно, своего рода самолюбие и чувство собственного достоинства, но они всегда находились в его распоряжении, и он умел управлять ими, смотря по обстоятельствам. Встречаясь с пренебрежительным взглядом, с почти презрительным к себе отношением, он не подавал виду, что замечает это, и спокойно говорил себе: «Ничего, это изменится».

И действительно, это изменялось. Он протирался всюду; где его не замечали сначала, там начали замечать. Он победил даже препятствия, поставленные перед ним самой природой, то есть свою неуклюжую фигуру и некрасивое лицо.

Про него говорили:

– Да, Барбасов... конечно, он урод, но, знаете, у него такое умное лицо, он человек интересный и талантливый.

Разумеется, он был по-своему и талантлив и умен, говорил хорошо, хотя и плевался, писал не хуже, хотя и злоупотреблял общими местами. В газетах, как московских, так и петербургских, время от времени он печатал статьи по разным юридическим и общественным вопросам, обращавшие на себя внимание. Конечно, если бы сделать из этих статей сборник и читать их одну за другой, то сразу бросилось бы в глаза, что автор, красноречивый и, по-видимому, доказательный, противоречит себе на каждом шагу... Он способен был сегодня горячо защищать тот самый взгляд, на который нападал вчера, да и не раз это делал. Убеждений у него никаких не было. Он сознавал это и находил, что так лучше...

«На каждый предмет, – говорил он, – непременно есть несколько точек зрения. Каждая из них может быть и верна, и не верна. С каждой точки зрения можно известную вещь и защищать и обвинять...»

Не имея определенного миросозерцания, он ничего, однако, безусловно не отвергал. Веры в нем, само собою, никакой не было, но он не хвалился своим неверием. Один раз, когда зашел разговор о религии и Боге, он серьезно сказал: «Бог! Что ж, очень может быть, очень даже может быть, что он и существует, но только меня это не касается. Это не входит в пределы моей деятельности. А деятельность каждого человека должна быть непременно ограждена известным пределом. Только не выходя из резко очерченной рамки, и можно действовать успешно, в противном случае разбросаетесь, расплыветесь, и в результате выйдет ноль, а, пожалуй, и хуже того – минус...»

Для него это было ясно и, как он выражался, «математически верно».

Такой-то человек начинал теперь обдумывать смелый план относительно Марьи Сергеевны Горбатовой.

«Да, возможно! – решил он. – Лет двадцать, даже десять тому назад был бы еще, пожалуй, другой разговор, а теперь наш брат смельчак выбирай себе любое: что полюбишь – все возьмешь. Совсем перемешались шашки; теперь без драмы, без романа, без борьбы с гордой родней можно все обделать, только присмотреться надо хорошенько и сообразить все уступки, каких потребует благоразумие... Что ж, в крайнем случае я адвокатуру побоку, за новую деятельность примусь – и не оплошаю. Прожить можно...»

Он очень хорошо знал, что кроме отцовского наследства Марья Сергеевна, по завещанию деда, получает полмиллиона. У него у самого был уже отложен изрядный капитал, и потом со дня на день он ожидал огромного выигрыша на бирже. Он и биржевыми делами занимался, и тут у него была все та же удача.

«Теперь только осторожно-осторожно, чтобы как-нибудь не зацепиться!.. А Нюютку надо немедленно сплавить... глупа, компрометантна!..»

Он позвонил и спросил вошедшего лакея:

– Экипаж возвратился?

– Так точно-с, у подъезда.

– Скажи, чтобы откладывал.

«Пусть она меня ждет, пусть побесится, авось это подействует...»

Он зажег свечи, подсел к письменному столу и стал разбираться в своих бумагах.

## XV. После Барбасова

По уходе Барбасова в гостиной Горбатовых на некоторое время воцарилось молчание.

Клавдия Николаевна сидела, опустив руки, склонив голову.

«Non, décidément, je suis au bout de mes forces!»<sup>16</sup> – думала она и возвращалась все к одним и тем же одолевающим ее теперь безнадежным вопросам.

Конечно, и при жизни Бориса Сергеевича было то же, те же дразги, те же мелочи, несогласия, так же трудно было ладить с Кокушкой и Софи, те же заботы обо всех... Но Борис Сергеевич был тут, его никогда не было слышно в доме, а между тем в нем заключалась для нее большая опора. Он всегда все умел уладить, все сгладить, его тихое влияние сказывалось не только на Кокушке, но даже и на Софи.

Теперь же вот они чувствуют, что уже нет никаких сдержек, они на своей воле. Она убедилась в последнее время, что со смерти старика на нее не обращают никакого внимания.

Софи уже не раз ее обижала, просто насмеялась над нею.

«Что же это будет, чем же все это кончится? Делала для них, что могла, а теперь уж ничего не могу... ничего!..»

И она еще ниже склоняла голову, и еще мертвеннее опускались ее прозрачные руки.

Софья Сергеевна еще не пришла в себя от выходки Кокушки и измеряла комнату быстрыми, нервными шагами. Лицо у нее было бледное, злое; тонкие ноздри раздувались. Она казалась теперь совсем поблекшей, даже почти некрасивой.

Владимир рассеянно разглядывал на столе альбомы и, по-видимому, мысленно был где-то далеко.

Одна Марья Сергеевна продолжала находиться в хорошем настроении духа. Ее рознь с сестрою в последние годы перешла даже в очевидное недружелюбие, поддерживавшееся тем, что они неизбежно и невольно должны были жить вместе. Таким образом, она вовсе не приняла к сердцу выходку Кокушки и даже сейчас о ней забыла. Она глядела в окно, выходившее в сад, весь залитый светом солнца, пожелтевший, полуоблетевший, но очень красивый в этом осеннем освещении. Ей хотелось воздуха, движения. Жизнь и здоровье были ключом, блестяли в ее серых глазах, заливали ее щеки румянцем, высоко поднимали ее грудь.

– Боже мой, какой день сегодня! – сказала она. – Хоть бы прокатиться немного перед обедом... Софи, не хочешь ли?

– Ну, уж избавь! – отозвалась Софья Сергеевна.

– Я с удовольствием проежусь с тобою, Маша, – сказал Владимир.

– Вот и отлично! Позвони, пожалуйста, и вели заложить маленькую коляску. Только который же теперь час? Пятый! Ma tante<sup>17</sup>, ведь вы нас подождете немного с обедом?

– Однако же это невыносимо! Мне уж и теперь есть хочется! – вдруг воскликнула Софья Сергеевна. – Я кончу тем, что сама буду заказывать себе и завтрак, и обед, и буду есть в своей комнате...

Марья Сергеевна засмеялась.

– В кои-то веки попросила немного позднее обедать... А тебя вечно бог знает до какого часа ждать приходится... Ну, хорошо, мы не поедем, Володя, если Софи так есть захотелось, а поедем сейчас после обеда в парк – согласен?

– Я на все согласен, душа моя! – отвечал Владимир, продолжая перелистывать альбомы.

– Где ты был сегодня и откуда достал Барбасова? – говорила Марья Сергеевна, подходя к брату и обнимая его за шею.

<sup>16</sup> Нет, определенно, я измотана! (фр.)

<sup>17</sup> Тетушка (фр.).

Он поднял голову, взглянул на нее и даже удивился, будто в первый раз заметив, какая Маша вышла хорошая и как она на него ласково смотрит. Он улыбнулся ей.

– Я встретил Барбасова у Груни, – сказал он.

– У Груни? Какой Груни?.. Ах, да!.. Груня... знаменитая...

– Поджигательница, – договорила Софья Сергеевна.

– Нет, не поджигательница, а актриса, певица, артистка, о которой говорили во всех газетах, которая производила фурор и в Италии, и в Лондоне, и в Вене, и в Берлине! – высчитывала Марья Сергеевна. – Так ты был у нее? Это очень хорошо... Какая она? Расскажи. Я видела ее портрет, он у меня даже и теперь где-то. Она красавица, правда это?

– Красавица... да, – сказал Владимир.

– Где же она остановилась, в какой гостинице?

– Она живет теперь у Кондрата Кузьмича, в его домике.

– Неужели! – воскликнула Марья Сергеевна. – Это мне очень нравится. Знаешь, я непременно хочу познакомиться с нею... и ты мне поможешь в этом.

– С удовольствием!

– Только этого и недоставало! – с сердцем воскликнула Софья Сергеевна. – Самое лучшее, советую пригласить ее сюда, задать в честь ее обед...

– Так бы и следовало, конечно, – отозвалась Марья Сергеевна, – но я не хочу подвергать ее обидам, без которых не обойдется.

Софья Сергеевна остановилась перед сестрой и заговорила:

– Ты положительно с ума сходишь, Мари! Я уже давно замечаю, что ты не то чересчур оригинальничаешь, не то просто в какую-то нигилистку превращаешься, но ведь всему же есть мера... или ты шутишь?

– Нисколько!

– Как? Ты находишь для себя возможным знакомиться с этой особой?.. Да подумай – кто она! Ведь это наша бывшая дворовая девчонка, отвратительная девчонка, которая сожгла наш дом... чуть не была убийцей бабушки!..

– Ну, Соня, – сказал Владимир, – я повторю твои слова: всему есть мера... Как тебе не стыдно говорить это? Нельзя вспоминать про тот пожар; ведь мы знаем, как все было: измученный ребенок потерял голову... Да что же повторять? Ведь мы все знаем...

– И наконец, вся эта история показывала, – перебила его Марья Сергеевна, – что эта Груня – необыкновенная... так оно и вышло.

– Во всяком случае, теперь нет уж нашей дворовой девочки, – продолжал Владимир, – а есть известная певица и артистка, которой никому не может быть стыдно протянуть руку...

– И ты... тоже! – презрительно усмехнулась Софья Сергеевна. – Ну да что ты... это понятно, у вас, у мужчин, на это свои взгляды... Для тебя она – красивая женщина – и только... Фу, какая все это грязь, какая гадость!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.